

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ “БОЛЬШАЯ КНИГА” И “ЯСНАЯ ПОЛЯНА”



☆ ГУЗЕЛЬ ЯХИНА ☆



ЭШЕЛОН НА САМАРКАНД

РОМАН



АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА” И “ДЕТИ МОИ”



Гузель Яхина
Эшелон на Самарканд

«АСТ»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Яхина Г. Ш.

Эшелон на Самарканд / Г. Ш. Яхина — «АСТ», 2021

ISBN 978-5-17-135479-4

Гузель Яхина – самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий “Большая книга” и “Ясная Поляна”, автор бестселлеров “Зулейха открывает глаза” и “Дети мои”. Ее новая книга “Эшелон на Самарканд” – роман-путешествие и своего рода “красный истерн”. 1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Черeda увлекательных и страшных приключений в пути, обширная география – от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами...

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-135479-4

© Яхина Г. Ш., 2021

© АСТ, 2021

Содержание

I. Пять сотен	6
II. Вдвоем	39
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Гузель Яхина

Эшелон на Самарканд

Моему папе Шамилю Загреевичу Яхину

© Гузель Яхина, 2020

© ООО «Издательство АСТ»

Публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

І. Пять сотен Казань

Четыре тысячи верст – ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда еще не было – приказ о его формировании был подписан вчера, девятого октября двадцать третьего года. И пассажиров не было – их предстояло собрать по детским домам и приемникам: девочек и мальчиков, от двух до двенадцати, самых слабых и истощенных. А вот начальник у эшелона уже был: фронтовик Гражданской, из молодых, – Деев. Назначен только что.

– Дети, – сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чайнов. – Пятьсот душ. Доставить из Казани до Самарканда. Мандат и инструкции получишь у секретаря.

За годы в транспортном Деев сопровождал все, что могло передвигаться по рельсам, – от реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегией голодающему Поволжью. Детей однако – не приходилось.

– Когда выезжать?

– Хоть завтра. Соберешь состав – и лети, Деев, птицей лети! Дети – они долгой дороги не любят, скоро сам поймешь.

Вот и весь разговор – пара минут, не больше. Неясно лишь: что значило это странное “сам поймешь”? Но раздумывать было некогда. Долгие раздумья – для стариков, у них времени много.

Первым делом отправился к вокзальному начальству. Те обещали поскрести по сусекам и наскребли всего один вагон, зато – бывшего первого класса, некогда благородно-синего, а нынче уже бледно-серого цвета, с гобеленовой, лишь местами рваной обивкой салона, почти целыми зеркалами и просторным общим холлом, где при желании можно было вальсировать. Когда-то там располагалась дорожная библиотека и даже был установлен рояль, а теперь красовалась щербатая чугунная ванна (видно, перетащили из банно-прачечного отсека, да так и позабыли здесь). Смотрелась она в окружении пустых книжных полок и почерневших канделябров нелепо. Поморщился Деев, но вагон взял. Гобелены велел содрать к чертовой матери, канделябры – сбить. В купе вместо элегантных багажных сеток надстроить вторым и третьим ярусом нары. А ванну – оставить. Пробовал было затребовать к ней и печку-чугунку, чтобы детям было где согреть воду для мытья, но был обозван буржуем и идею с горячим водоснабжением отложил на потом.

Второй вагон пришлось ждать до завтра: пригнали с Красной Горки, где он стоял четыре года на задворках паровозного депо. Посмотрел на добычу Деев и аж передернулся: не простой это был вагон, а путевая церковь. Видно, потому и пылился так долго в отстойнике, что приспособить его под какие бы то ни было советские нужды затруднялись. Позеленелую бронзу с купола можно было, положим, снять, алтарь разобрать. А арочные окна под красными бровками куда денешь? А кокошники под крышей?.. Принял Деев и этот вагон. Одна радость: вместительный. “Во сколько рядов лавки городить будем?” – спросил башкан плотницкой артели, уважительно разглядывая высоченный потолок. “Давай в три!” – махнул рукой Деев. Пожалуй, влезли бы и все четыре, но карабкаться на самую верхотуру дети могли побояться.

Вагон-кухню прислали пару суток спустя, из-под Симбирска, – кургузую коробчонку на колесах, сбитую наспех из струганых досок и позже чиненную нестругаными, в заплатках из фанеры, с торчащей из слухового окна загогулиной печной трубы. Говорили, в симбирских тупиках еще с девятнадцатого года стояло много такого барахла, и что-то вполне могло сгодиться Дееву, но ехать туда с проверкой было недосуг.

Наконец, расформировали пришедший из Москвы пассажирский и пяток вагонов подогнали к деевскому эшелону, который путевые рабочие уже называли между собой “гирляндой” за разнообразие цветов и мастей. Вагоны – сплошь плацкартные, прокуренные и запахощенные насмерть – нуждались не в плотниках, а в обстоятельной уборке. Но Деев к тому времени так замучил вокзальное начальство требованиями (да всё “немедля!”, “тот же час!” и “непрененно!”), что в уборщиках ему отказали. Плюнул он, набрал пару ведер воды и принялся отмывать сам.

Тут-то она и появилась. Деев как раз пластался по мокрому полу, тряпкой выжывая из-под лавки груды семечковой шелухи, – а у самого его лица возникли два тупоносых пехотных ботинка. Поднял глаза выше: икры, тонкие, не в солдатских обмотках – в нежной чулочной шерсти.

– Убийца, – так начала разговор. – Почему канителитесь?

Опешил Деев. Еще выше глаза поднимает: юбка черная, узкая, а под сукном юбочным – острые колени.

– Пока вы тут пузом по полу елозите, умирают дети.

Он попытался вылезти из-под лавки и сесть – тюкнулся затылком о лавочный край.

– Ты кто? – Перед женщинами Деев робел и оттого называл их исключительно на “ты”, а себя держал гордо, с вызовом.

– Детский комиссар. Поеду с вами до Самарканда, если соизволите встать из лужи и приступить к выполнению приказа.

– Имя-то у тебя есть, комиссар?

– Белая.

Деев так и не понял, имя это или фамилия. Переспрашивать не решился.

Была она старше его, но не так чтобы в матери годилась. Скорее, в старшие сестры. Лицо имела красивое и строгое, хоть сейчас на плакат. Волосы – русые, коротко стриженные, кудрями во все стороны. А взор – начальственный, как у армейского командира. Под таким взглядом хотелось немедля вскочить и оправиться, но сдержался: не спеша пригладил чубчик (заодно смахнул со лба пару приставших подсолнечных шкурок), небрежно кинул тряпку в ведро (вода плеснулась через край и брызнула комиссару на ботинки) – да и остался на полу сидеть, эдак чуть развалясь.

– Тогда, может, с уборкой подсобишь, товарищ Белая? Или в хлеву повезем народ?

– Подсоблю, – ответила серьезно. – Только ночью, когда дети спать будут.

– А мы с тобой, выходит, не будем? – снахальничал Деев. И не хотел вовсе дерзить, да язык-дура ляпнул сам.

И тут же стыдно стало за нелепую эту сальность. Поднялся, отряхнул грязь с закатанных штанов и голых коленей. А когда распрямился – понял, что смотрит на гостью снизу вверх: комиссар Белая была выше на целых полголовы.

– Боюсь, Деев, спать нам не придется, – сказала, глядя в упор, и он рассмотрел наконец ее глаза – холодно-серые, в прямых ресницах. – До самого Самарканда – не придется.

* * *

Пару минут спустя он уже шагал рядом с Белой. Даже не шагал – строчил торопливо по мокрому от сеющего дождя путям, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не пуститься бегом. Она ступала широко, через шпалу, даром что ноги имела по-девичьи тонкие, а фигуру легкую, едва различимую под широкими складками бушлата, прихваченного в талии ремнем. Деев наблюдал стремительный ход ее квадратных башмаков и думал о том, что под ними непременно должны скрываться маленькие и узкие ступни. Споткнулся, чертыхнулся – отогнал неподобающую мысль.

– Они попробуют увеличить квоту – не соглашайтесь! – Белая говорила быстро, не трудясь повернуть голову к собеседнику, а словно стреляя фразами вперед, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы расслышать указания. – Попробуют добавить больных под видом выздоравливающих – не соглашайтесь!

Деев никак не мог взять в толк, с кем ему не соглашаться. Иначе говоря, в кого так безжалостно стреляла словами комиссар?

– Начнут давить на жалость – валите все на меня. Так и скажите: мол, эта Белая такая принципиальная и бессердечная, не стовориться с ней никак, просто не человек, а камень...

– Но начальник-то эшелона я, – на всякий случай напомнил Деев.

– Начальник вы, – согласилась Белая. – А валите все на меня. А еще лучше молчите, я сама все скажу.

Вокзальными задворками вышли в город и скоро оказались в самом сердце его, где стоял на главной площади дворец из гранита и мрамора, с колоннами в три обхвата и окнами много выше человеческого роста – некогда Дворянское собрание, а ныне казанский эвакоприемник номер один. Сюда из ближних и дальних уголков Красной Татарии свозили детей, кого не хотели или не могли прокормить родители; отсюда и ожидалась львиная часть пассажиров деевского эшелона.

Вблизи, однако, приемник походил не на дворец, а на осажденную крепость. Подвальные окна его были заколочены досками – наглухо, местами в два слоя, – а стрельчатые окна первого этажа убраны листовым железом и фанерой. Беломраморные колонны – в густой сетке из трещин. Стены – испещрены выбоинами так обильно, что казались возведенными из необычайно рыхлого и пористого камня (Деев узнал эти щербины сразу: мелкие – от пуль, покрупнее – от снарядов). Здание глядело сурово и неприступно, словно вокруг еще бушевала Гражданская война. От кого же оборонялись засевшие внутри? Неужели от осаждающих учреждение детей?

А они валялись повсюду – на гранитной входной лестнице, на расстеленных вдоль стен газетах – дюжина или полторы маленьких грязных тел, укутанных в тряпье по самые брови и лениво-неподвижных под дождем. Деев наблюдал подобную картину не раз, но никогда не задумывался: отчего же дети лежат снаружи приемника, а не внутри?

По пологому скату для конных повозок Белая поднялась к парадному входу и постучала. Ответа – нет. Постучала еще раз, уже сильнее, подергала плотно закрытые двери – и вновь без результата. Встала на цыпочки и грохнула пару раз ладонью о покрывающую оконный проем фанеру – едва не поранила руку о гвоздь.

Крепость хранила молчание. Лежащие у подножия дети – тоже.

Никто даже не шевельнулся. Несколько пар глаз с вялым любопытством следили за действиями женщины, и лишь один пацаненок – мелкий, с коричневым от загара лицом, похожим на грязную картошину, – уселся поудобнее, чтобы не пропустить представление. К нему-то Белая и обратилась.

– Почему не открывают? – спросила запросто, по-дружески.

Ни тебе властного тона, ни командирского взгляда, удивился Деев. А ведь умеет комиссар по-человечески разговаривать!

Пацаненок помолчал немного, глядя мимо и вверх, откуда сыпались мелкие дождевые капли.

– Поздновато явились, – процедил нехотя. – Завтра уже приходите, с утра они добрее будут.

– Нам сейчас надо, – вздохнула Белая. – Может, есть еще какой способ... Помогите.

И снова ответил не сразу, будто слова долетали до него издалека.

– А мне что с того будет?

– Расскажу, как устроиться в приемник. Чтобы не под дверь тут христарадничать, штанами крыльцо протирать. А чтобы социальные сестры сами тебя под локоток взяли и внутрь провели, умыли, накормили и на паек поставили.

– Бреешь, – ослабился пацан мгновенно, показывая черные зубы.

– Сегодня в полночь на Устье облава: Деткомиссия и милиция будут чесать берег. Пойманных развезут по приемникам. Так что всем, кто хочет под крышу и на паек, быть на Устье до заката. А кто не хочет, пусть дует к чертовой бабушке и не путается под ногами. Усек? Передашь по своим.

Лицо-картошина смялось, недоверчиво поводя бровями и дергая ноздрями.

– Нож мне в сердце, гвозди в глаз! – Белая ударила себя сжатой рукою в грудь, словно вонзая кинжал между ребер, и лицо тотчас разгладилось, заулыбалось заговорщически. – А теперь помощи, – попросила Белая повторно.

Мальчишка встал – медленно, едва шевеля конечностями, будто двигаясь по речному дну, а не по суше, – и подошел ко входным дверям. Повернулся к ним спиной и, миг утратив всю свою ленивую плавность, яростно заколотил пятками и кулаками; молотил так истоиво, что тяжелое, крытое лаком дерево задрожало, а петли заскрипели.

– Шибче надо было колошматить, – пояснил, не прерываясь и чуть запыхавшись от громкой своей работы. – Их только упорством и возьмешь!

– Сказано, нет мест! – разнеслось через минуту откуда-то сверху, из окна.

Но мальчишка все колотил, не снижая напора, и скоро в одной из дверей щелкнул ключ. Пацаненок тотчас брызнул в сторону, и выскочившая из щели метла мазнула по воздуху.

– Вон отсюда, шантрапа! – показалась в открывшемся проеме необъятная женская фигура, помахивая метлой, как разящим мечом. – Вон, к лешему на рога!

– Что за цитадель вы тут устроили? – Белая говорила очень тихо и с такой угрозой, что у Деева заглодело в кишках. – Война давно закончилась.

– У кого закончилась, а у кого в самом разгаре, – не растерялась привратница. – Разнесут же учреждение! Не я виной, что их тут каждый день армия! И куда их всех?

Не говоря более ни слова, Белая сделала шаг вперед, и огромная женщина отступила, опустила метлу. Деев юркнул следом – в плотную темноту здания с наглухо заколоченными окнами.

* * *

– Товарищи, вы к кому? – привратница все еще возилась у двери, запирая последний из нескольких замков и не попадая во тьме ключом в скважину. – Куда же вы, товарищи? Эй!

А Белая уже устремилась по широченной парадной лестнице вверх – туда, где брезжил со второго этажа свет. Деев поспешил было за комиссаром, но споткнулся обо что-то мягкое – едва не упал. И снова споткнулся. И снова чуть не упал. Темнота вскрикнула тоненько, а затем пропищала насмешливо:

– Товарищи!

Разглядеть что-либо во мраке было невозможно. Деев остановился, руками шаря перед собой – нащупал пару бритых макушек.

– Товарищи! – захихикало с другой стороны. – Куда же вы?

– На кудыкину гору! – откликнулось с третьей. – По кривому забору!

– Посмотреть на обжору!

– Или выпить кагору!

– Или слопать рокфору!

И вот уже сумрак наполнился голосами, смешками, вздохами.

– Налупить сутенеру!

- А еще – прокурору!
- А еще – полотеру!
- Без понта и фурору!
- Цыть! – рявкнула привратница где-то у подножия лестницы.

Напрягая зрение и ощупывая пространство перед собой, Деев ринулся за Белой – сквозь толпу мальчишек, рассеявшихся на ступенях. Ладони его скользили по стриженным головам, голени – по чьим-то плечам и спинам. Больше всего боялся наступить на кого-нибудь, но детские тела были много быстрее – сами раздавались в стороны, открывая дорогу, как стая мальков рассыпается при виде приближающейся крупной рыбы.

Чем выше поднимался Деев, тем светлее делалось вокруг и тем плотнее становилась толпа. Скоро лестница разделилась на два рукава, каждый круто изгибался – один налево, другой направо – и вел на второй этаж. Здесь уже можно было разглядеть глаза – карие, рыжие, черные, синие, цвета травы, – они с любопытством таращились отовсюду. Пацанята были мелкие и стриженные как на подбор. У одного, кажется, не было уха; но, может, это только почудилось в потемках.

Второй этаж распаивался на две стороны просторным коридором. Широкие двери – когда-то ярко-белые, в золотых вензелях, а ныне облупившиеся до темного дерева – вели во внутренние пространства. Из глубины коридора уже спешила к гостям крошечная дама в очках, по виду сотрудница приемника. Но Белая – не дожидаясь женщины, а словно даже вопреки ее торопливости – распахнула центральные двери и решительно вошла внутрь. Деев, сгорая от неловкости, шагнул следом. Не одному же ему объясняться за нахальное вторжение?

Вошел – и обомлел: это был бальный зал. Сквозь огромные окна – почти все они имели целые стекла, и только некоторые были заделаны тряпками – щедро лился дневной свет. Потолок был высок необычайно – пришлось заломить шею, чтобы обозреть гигантскую многоярусную люстру размером с паровоз (лампочки-свечи разбиты все до единой, а бронзовые загогулины целы). От люстры волнами разбежались по потолку гипсовые цветы и черные трещины. Там же, в вышине, парил огражденный белыми перилами оркестровый балкон, от него тянулись вниз обшарпанные, но все еще изящные колонны.

Великое это пространство было забито ребятней до такой степени, что напоминало зал ожидания на вокзале. Подоконники устланы тряпьем и превращены в места для спанья; на каждом теснились по трое-четверо мальчуганов, иногда вповалку. Лежанками же служили и ящики, и чемоданы, и набитые чем-то мешки, и составленные вплотную и притрушенные сеном стопки книг – они тянулись по паркету длинными рядами (книги были дорогие, в обложках из кожи или нарядного картона, очевидно, собрания сочинений). Кому не хватило спальных или сидячих мест, лежали прямо на полу, покрывая его плотным шевелящимся слоем грязновато-бледных конечностей и тощих лиц.

На вошедших никто не обратил внимания: обитатели приемника глазели в окна, резались в карты, болтали, дрыхли, выкусывали вшей, просто таращились бездумно в потолок. Никогда еще Деев не видел столько детей, собранных вместе. От обилия голых пяток и одинаковых, стриженных наголо затылков зарябило в глазах. Гул голосов заполнил уши:

- Не впервой нам было собачатину лопать – бывальщина! И ничего, натрескались от пуза, не померли...
- Мать моя тогда при смерти была, ей уже земля коготки свои черные показала...
- Что ты, паря, меня исповедуешь?! Захочется – тебя не спросится. Мы уже пальцы маза-ные, сплетуем – блоха не учует...
- О пресвятая дева, мати Господа, царица небесе и земли! Вонми многоболезненному моему воздыханию...
- Кормят-то и здесь паршиво: ешь – вода, пей – вода, срать не будешь никогда...
- Да твой Мозжухин против моего Дугласа Фэрбенкса – мышь против слона!..

– Когда станут меня драть, вспомню милым словом мать...

– Эх, говорю ей, сестрица, больно важно вы едите, ну прямо как Ленин...

– Товарищи! Вы от Наркомпроса?

Женщина в очках запыхалась от короткой пробежки (вблизи Деев увидел, что уложенные в пук жидкие волосы ее совершенно седые, а худоба организма уже не молодая, а старческая). Но Белая и не думала останавливаться – стремительно шагала между раскинувшимися по полу мальчишескими телами, вертя головой во все стороны.

– Моя фамилия Шапиро. – Женщина обогнала Деева и кое-как приспособилась к быстрому ходу Белой, затрусила рядом, пытаясь заглянуть в лицо странной гостье. – Заведующая Шапиро.

– Общая численность детей в приемнике? – Белая заговорила крайне суровым тоном, словно заранее обвиняя за любой ответ.

– Четыреста пятьдесят человек. – Заведующая на ходу сдернула очки и протерла о подол вязаной кофты, видно, надеясь через чистые линзы лучше рассмотреть прищельцу. – Но после обеда будет больше, ждем обоза с Елабуги.

– Из них здоровых?

– Смотря кого называть здоровыми. В лазарете и на карантине – сорок семь детей... – Лицо заведующей выражало все большее смятение, а дыхание становилось все резче от быстрой ходьбы. – Или вы от Наркомздрава?

Неправильно было заставлять пожилого человека так спешить. Понимала ли это Белая? Кажется, нет – не понимала. Или наоборот – понимала прекрасно?

– Из общего количества здоровых – сколько детей старше пяти лет?

– Около двух третей... Но позвольте... все же узнать... – Шапиро уже с трудом переводила дух. – Товарищ?..

Дееву стало стыдно.

– Белая, – представил он спутницу. – Комиссар Белая из Деткомиссии.

– Деткомиссия! – воссияла мгновенно Шапиро, забыв про одышку. – Наконец-то вы о нас вспомнили! Мы же без вас гибнем, гибнем... Что вы же не предупредили? Я бы и цифры все свела, и перечень вопросов составила, чтобы не впопыхах...

– А вы не торопитесь. – Белая разглядывала окна и простенки между ними: дождь снаружи усилился, и по обшарпанной штукатурке уже бежали на паркет крупные капли.

Разглядывала не просто так: давала понять, что видит и порицает. Удивительная все же манера не только слова свои, но и жесты, и даже молчаливые взгляды превращать в укор! Не женщина – ехидна.

– Ну, во-первых, конечно, помещения, – начала Шапиро вдохновенно. – Вы же сами видите, в каких мы условиях! Они в Наркомпросе считают, что дали нам дворец – и все, дело сделано! А жить в этом дворце – как? Об этом они подумали? Учиться – как? А спать? А болеть? В таких условиях детям не место.

– И правда, – поддакнул Деев (уж очень хотелось помочь бедной заведующей). – Кровати-то где?

– В Дворянском собрании не спали, товарищ. – Шапиро назидательно мотнула головой. – Здесь балы танцевали и пиры пировали. Вот самая приличная наша кровать.

Она хлопнула ладонью по уличной скамейке, явно принесенной из какого-то парка: на ней копошилась куча малышни, укрытая шелковой скатертью с кистями – засаленной донельзя и давно утратившей цвет.

– А у меня что ни день, то новый обоз! И куда их селить, всех эвакуированных? – Шапиро трагически раскинула худенькие старушечьи ручки и мгновенно сделалась похожа на испуганного паучка. – А еще каждый день – подкидыши. Мы уже и объявление на дверь вешали: “Большая просьба всех младенцев нести сразу в Дом малютки!” И адрес указывали. Но мамыши

пошли то ли неграмотные, то ли упрямые: каждое утро на ступенях – один-два кукушонка, а то все три...

Деев почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся – через стекла многостворчатой балконной двери смотрели на него несколько гипсовых статуй; верно, их вынесли на балкон за ненужностью. У некоторых были отбиты носы. По неподвижным лицам статуй струилась дождевая вода.

– ...А еще же каждый день – самоход, человек по десять-пятнадцать. Идут и идут, идут и идут. И ведь не только Татария идет – сюда и Чувашия идет, и Мордовия идет, и немцы из-под Саратова идут, на днях вот Калмыкия пришла. Подростка, положим, я не впусчу. А малышатрехлетку? Сердца не хватит отказать.

– Это вы от излишней сердечности окна железом заколотили? – Обойдя зал, Белая развернулась и энергично зашагала к выходу, словно была здесь хозяйкой и сама вела гостей по учреждению.

Неприятно было – аж челюсти хрустнули – от резкости тона и грубости поведения спутницы. Не детский комиссар, а фельдфебель на плацу!

– Ну зачем вы так? – Шапиро едва поспежала за Белой. – Первый этаж и подвалы нежилые вовсе, там даже скот держать нельзя: зимой на стенах иней с палец толщиной, а весной и осенью воды по колено. Окна-то без стекол, с самой войны. И камин не работает, и канализация забита. Вот если бы Деткомиссия помогла...

Странный протяжный звук прервал разговор: неся откуда-то сверху, из-под потолка – Дееву показалось в первый миг, что это сирена. Но нет, это ребенок выл – не плакал, а именно выл – отчаянно и долго, лишь изредка прерываясь для вдоха и поскуливая. Даже Белая остановилась и обернулась на звук. Заведующая, однако, только рукой махнула устало:

– Не обращайтесь внимания, это Сеня-чувашин. Скоро успокоится.

* * *

Вой не спадал – и пока гости покидали бальный зал, и пока шли по коридору, и пока заходили в соседнюю комнату. Шапиро прикрыла двери, чтобы звук не мешал, – голос проникал и сквозь стены.

Но едва попав в новое пространство, Деев позабыл про Сеню, так ошеломил его этот следующий зал. Вероятно, когда-то это была парадная столовая. Сейчас ее населяли девочки. Здесь были те же самодельные лежанки – из книг, обломков мебели, картонных коробок, та же скученность и теснота, те же костлявые тела и босые ноги – уже не мальчишеские, а девчачьи. А над всем этим царила еда.

Потолок был расписан ярко и щедро, с какой-то чрезвычайной натуральностью. По периметру – виноградные листья, поверх красовались огромные, подсвеченные солнечными лучами гроздья. Тут же рассыпались и розовые яблоки, и почти прозрачные на свет медовые груши. По горам абрикосов и персиков порхали бабочки, а лимоны с наполовину снятой кожурой влажно блестели и едва не капали соком.

Стены – гигантские картины. Жареная дичь, бледно-розовые в разрезе окорока, устрицы, надщипанный хлеб и ополовиненные бокалы с вином – все это было немислимых размеров и в прекрасном состоянии: ни трещины, ни плесень не брали это мощное изобилие – фрески сияли, будто написанные вчера.

Здесь было очень тихо: придавленные невероятным пространством, девочки лежали смиренно, беседовали еле слышно (даже Сеня-чувашин перестал кричать). Деев заметил, как одна пыталась отколупнуть кусочек нарисованного мяса со стены, но не сумела: слой краски был толст и крепок, а девчоночий пальчик – слаб.

Хотел было задать вопрос, но только крикнул досадливо, осматривая раскинувшуюся над головой фруктовую тучу.

– Говорю же, нет помещений, – вздохнула Шапиро.

– А нельзя ли как-нибудь замазать эти... – Деев поморщился, подыскивая слово, – ... художества?

– Чем? Углем? У меня и того нет.

– С помещениями понятно, – прервала их Белая. – Что еще беспокоит?

На гладком красивом лице ее Деев не заметил и следа волнения: комиссар взирала на бушующее вокруг кулинарное безумие и съжившихся под ним детей совершенно спокойно. Странное она все же имела душевное устройство: то вскипает на ровном месте, а то сухарь сухарем, словно и не сердце в груди, а кусок замороженной рыбы. Протекающие стены и забитые фанерой окна, значит, ее волнуют. А муки детей, живущих в окружении нарисованной еды, – нет?

– Во-вторых, конечно, питание, – с готовностью откликнулась Шапиро, указывая сухонькими лапками на живописные продукты. – Я все понимаю: разруха, голод, время тяжелое. Но зачем же мы их эвакуируем, если накормить не можем? Рубль в неделю на ребенка – где это видано? Чем я накормлю его на рубль? Мельничной пылью? Шелухой овсяной? А ведь его не только кормить нужно – еще и лечить, и согревать. Это уже в-третьих.

Она кивнула на камин в углу – широченный, из чугуна и мрамора, – у подножия которого валялось несколько обломанных веток и рваные газеты. В каминной пасти стояло жестяное ведро, куда из дымохода капала изредка вода – верно, от идущего снаружи дождя.

– Дворец... – Морщинистые щечки Шапиро зарумянились от возмущения, да и вся она, кажется, разгорячилась от этого разговора; кофта ее распахнулась, движения сделались размашистыми. – Они в Наркомпросе подумали, сколько дров нужно, чтобы дворец этот хотя бы раз протопить? У нас зимой по бальному залу поземка кружит!

Внезапно Деев почувствовал, что озяб за проведенные в приемнике полчаса: пожалуй, здесь было ничуть не теплее, чем на улице. Написанные на потолке солнечные лучи – не грели.

– Ну, дрова-то требовать легче, чем деньги или помещения. – Белая опять перешла на прокурорский тон.

– Просила! Всю бумагу на них извела!

– Значит, надо было не писать, а прийти в соцвос, к заведующему, и не выпускать его из кабинета, пока не даст пару обозов с дровами. Заточенный карандаш этой сволочи вот сюда приставить, – Белая ткнула себя пальцем в то место, где у мужчин обычно выпирает кадык, – а второй карандаш в руку ему сунуть: пусть подписывает! И пригрозить, что иначе в ЧК пожалуетесь – на его халатность и вражеское отношение к детям!

По какой-то особенной прозвучавшей ноте понял Деев: комиссар поступала так сама, и, возможно, не раз. Шапиро же только захлопала беспомощно близорукими глазками, не отвечая на смелое предложение, и лишь пару мгновений спустя продолжила, словно все еще надеялась на сочувствие:

– Далее, конечно, гигиена – ее у нас просто нет. Ни бани, ни дезокамеры – принимаем детей через ванну, одну на десятерых. И один же кусок мыла – на десятерых. А если вдруг чесотка? Или парша!? Мне даже подумать страшно...

– Да перестаньте вы уже бояться и жаловаться! – Белая так возвысила голос, что Шапиро вздрогнула, а девочки испуганно уставились на скандалящих взрослых. – Придите в Наркомздрав и тресните кулаком по столу! И вывалите им на этот же стол пригоршню вшей покрупнее – как сувенир от немых детей. Будут вам быстро и дезокамера, и мыло, и зубной порошок! – Она развернулась возмущенно и направилась к двери.

Всё делала, думал Деев. Всё это Белая делала: и кулаком стучала, и вшей на стол сыпала. А может, и не на стол – начальству этому несчастному за шиворот. С такой станется: не человек –

гангрена в юбке. А он-то – дурак! – на ресницы ее пялился да на колени красивые. И угораздило же его попасть с ней в один эшелон!

– Это вы мне как член Деткомиссии советуете? – ахнула заведующая.

– Причем действительно! – Покидая столовую, комиссар не потрудилась придержать за собой дверь, и та чуть не хлопнула спешащую следом Шапиро по лбу. Деев едва успел подскокить – защитить старушку от удара. Будь его воля, он охотно бы треснул этой дверью Белую – по спине или даже по прекрасному высокомерному лицу.

А та уже летела по лестнице на третий этаж, едва не сбив с ног какого-то мелкого пацаненка.

– Раздайся, море, – говно плывет! – огрызнулся тот.

– Одно говно другому не равно! – мгновенно парировала Белая.

– Там нечего смотреть! – заволновалась Шапиро больше прежнего, и в голосе ее послышался испуг. – Только лазарет и карантинная!

Поздно: комиссар уже одолела пролет, каблук ее уже стучали по полу – где-то наверху.

* * *

Мальчик был в малиновом камзоле с золотыми цветами и хрустальными пуговицами – стоял в коридоре и пис! ал в ведро. Камзол был так велик, что подол смялся и складками лежал на паркете, а тощая мальчишеская шея торчала из ворота, как палка из бочки. Под красным бархатом белело голое совершенно тело – ни штанов, ни даже исподнего мальчик не имел. Справив нужду, он деловито подхватил полы одеяния, чтобы не волочились при ходьбе, и, шаркая, направился на свое место. Видневшиеся из-под камзольных бортов босые ноги его напоминали слоновьи – уродливо-толстые, потерявшие всякую форму конечности переступали медленно, с усилием, едва отрываясь от пола.

– Мы это богатство на оркестровом балконе нашли, вместе с париками и пудрой, – пояснила Шапиро, задыхаясь на подъеме (Дееву показалось, что она уже покачивается от усталости и тревожений последних минут). – Верно, от музыкантов осталось: дюжина маскарадных костюмов, а обуви – ни единой пары. Уж лучше бы наоборот. Но не пропадать же добру, вот и раздали детям... Или вы на ноги его смóтрите? Говорю же, здесь у нас лазарет.

Пространства третьего этажа были гораздо у́же и приземистей: в маленьких окнах виднелся нависающий сверху карниз, а до потолка Деев мог бы при желании достать рукой. Очевидно, здесь были когда-то подсобные помещения. В каждое вела низкая дверца.

Шапиро с Деевым заглянули в несколько палат (на пороге пришлось наклоняться, чтобы не задеть макушкой притолоку), пока в одной не обнаружили Белую: она не вышагивала по комнате, а лишь стояла недалеко от двери, внимательно рассматривая обитателей. Да и не получилось бы здесь шагать – слишком тесны были покои, слишком плотным слоем устилали пол детские тела.

Тела эти были причудливы. Некоторые части их – руки, плечи, ребра, ключицы, шеи – необыкновенно худые, с остро торчащими косточками. А некоторые – ступни, голени, бедра и животы – невозможно толстые, похожие на пуховые подушки. То же и с лицами: у кого – костлявые маски, а у кого и не лицо даже, а словно раздутая через соломинку жаба, в складках которой едва заметны щелочки глаз. Деев, конечно, видывал опухших (да и кто же на Волге их не видывал!), но чтобы столько разом, и одни только дети... Кто-то был гол, кто-то прикрыт бархатным камзолом вроде уже виденного. У некоторых на голове сидели расшитые золотом треуголки с перьями и завитые парики. Дети валялись на лежаках и на полу, переговаривались лениво, многие спали.

– По инструкции, конечно, опухших и увечных не положено брать, – забормотала виновато Шапиро, и Деев понял наконец причину ее смущения, – но эвакуаторы... Что с них взять,

тоже люди. Всякое случается, ошибаются: то младенца-сосунка привезут, то однажды девочку беременную из-под Мамадыша – хотя и тринадцати лет, а все же беременную...

– А вы расходы на содержание этих неположенных вычитайте у эвакуаторов из жалования, – предложила Белая. – Вмиг перестанут ошибаться.

Шапиро только сгорбилась виновато, ничего не стала отвечать.

– Замолчи, – сказал Деев с ненавистью: не мог больше терпеть.

Сказано это было тихо и в спину обеим женщинам – вряд ли его услышали. Хотел было повторить громче, а еще добавить пару ободряющих слов заведующей, а еще взять Белую под локоть (покрепче взять, чтобы стало ей по-настоящему больно) и не дать больше рот раскрыть... но тут кто-то коснулся его ноги сзади – ласково, словно кошка хвостом обмела.

Оглянулся: девочка, лет четырех или восьми – такая тощая, что возраста не понять, – сидит на куче соломы в углу и тянет руку к вошедшим. Широко распахнутые глаза – белые, как два очищенных вареных яйца, – уставились на Деева. Ладонь сложена лодочкой, покачивается в воздухе. Слепая, понял он. Просит подавания на звук.

– Тебе больше не нужно этого делать. – Деев присел на корточки рядом, погладил девочку по плечу и мягко опустил ее вытянутую руку к земле. – Тебя все равно здесь накормят.

– Не трудитесь, – обернулась Шапиро. – Мархум не понимает – ни по-русски, ни по-татарски. Ей кажется, что так она отрабатывает свой хлеб.

* * *

– Вот и весь наш дворец, – сказала Шапиро уже в коридоре, жестом приглашая к лестнице. – Теперь вы видели все. Пойдемте вниз, товарищи, я вас чаем напою. Но спуститься они не успели – раздался знакомый надсадный вой, где-то совсем рядом – можно было принять его за звериный, если бы не короткие всхлипы и бормотания в промежутках.

– Сеня-чувашин? – догадался Деев.

Заведующая – отчего-то бледная, с застывшим лицом – кивнула коротко и отвела глаза.

– За ним гонится стадо вшей, – пояснила. – Во сне. Он от них убегает, а убежать не может. Ноги были сильно обморожены, и укусы насекомых теперь очень болезненны. Сеня, как просыпается, ловит этих вшей на себе, ловит, ловит... А как заснет, они его... Пойдемте же, товарищи! – В голосе заведующей слышалась какая-то обреченность. – Чай у меня отменный – морковный.

Белая посмотрела в полные тоски глаза Шапиро.

– Не надо нам чая, – сказала.

И пошла вдоль закрытых дверей прислушиваясь – в поисках той, за которой кричал Сеня. Нашла, открыла.

А дверь эта вела не в комнату – на оркестровый балкон.

И лежали здесь не дети – скелеты детей: так померещилось Дееву, едва он вошел. На составленных рядом стульях были сооружены лежанки из тряпья. Поверх покоились кости – тоненькие, обернутые сероватой дряблой кожей. Такой же кожей были обернуты и черепа, и лица, которые состояли, казалось, из одних только огромных ртов и глазных впадин. Кости изредка пошевеливались: порой раскрывали бездумно глаза и покачивались вяло в своих ложах, а то лежали неподвижно, с полуприкрытыми веками. Несколько детей были устроены в больших плоских ящиках (по торчащим сбоку резным ручкам Деев узнал вынутые полки комода). Один ребенок – в фанерном чехле для контрабаса.

Это были лежачие – те, кто уже прошел через голодные обмороки, голодную горячку и голодный отек и кто голодал долго – не месяцы, а годы, – так что организм не умер от недостатка пищи, а истощился и истончился от постоянной ее скудости. Это были те, кого вряд ли уже можно было спасти. С потолка смотрели на них, улыбаясь, гипсовые амурсы.

Здесь же лежал и Сеня. Он уже не кричал – тарачился осовелыми со сна глазами куда-то в пустоту и дышал по-собачьи, широко раскрытой пастью. У него был бугристый череп в редкой рыжей поросли и несуразно большие уши, в беззубом почти рту лишь два верхних клыка блестели по сторонам от языка.

– Ваши эвакуаторы и лежачих привозят? – Белая говорила очень тихо, подергивая вмиг побелевшими ноздрями. – А вы принимаете? Ну просто ангелы милосердия все вокруг!

Шапиро стянула запотевшие очки с носа и, не отвечая, пошла поправлять Сенино покрывало – обрывок гобелена, на котором еще можно было разобрать узор из куропаток и охотничьих собак.

Снизу, из переполненного здоровыми детьми бального зала, неслись крики и хохот.

– Почему в таком странном месте? – Деев глянул с балкона – увидел, как мальчишки затеяли на паркете чехарду.

– Говорю же, нет помещений. – Заведующая гладила Сеню по бритой голове; без очков крохотное розовое личико ее казалось детским, только сморщенным.

– А лежачим уже все равно, – подытожила Белая с издевкой.

– Не надо так! – Деев почувствовал, как в животе заворочалась внезапно тошнота – не то от высоты балкона, не то от всего увиденного.

– Я понимаю, что нарушила все предписания. – Шапиро выпрямилась и медленно посадила очки обратно на нос. – И готова понести наказание. Но поймите и вы – вы же все-таки из Деткомиссии, а не из ЧК: куда их было девать? Не отправлять же обратным обозом в Елабугу или Лаишево! В рапорте по итогам инспекции прошу указать: все это было исключительно под мою ответственность и...

– Мы не с инспекцией, – перебила Белая, глядя заведующей прямо в лицо. – Мы собираем детей для переброски в Туркестан.

– Да-да, было такое письмо... – забормотала Шапиро недоуменно, а затем вдруг ойкнула тоненько, по-девичьи, и приложила морщинистую лапку к груди – поняла. – Зачем же вы все это устроили? Весь этот допрос и обход помещений... Всю эту экзекуцию... Почему сразу не сказали? – Глаза ее за толстыми линзами очков сделались огромны, верно, от возмущения, но Дееву показалось – от переполнивших слез.

– Мне нужно было самой посмотреть всех детей, содержащихся в приемнике.

– То есть моего заключения вам было бы недостаточно? – Заведующая прижала к груди и вторую ручку, выставила вперед худенькие плечики – с каждой секундой словно все больше сжимаясь и скукоживаясь.

– Нет. – Белая говорила уже спокойно и деловито, отбросив обвинительный тон. – Вы составили список детей на вывоз?

– Да, с небольшим запасом. И как раз хотела просить Наркомпрос...

– Увеличения квоты не будет, вычеркивайте сразу ваш запас. – Белая обвела взглядом балкон. – Прошу вычеркнуть всех, кто находится на третьем этаже, а также младенцев до двух лет и беременных девочек. Оставить только здоровых. И лучше – постарше.

– А если я не соглашусь? И приведу к поезду не четыреста детей, как указано в квоте, а четыреста десять? Неужели вы бросите их на перроне?

Комиссар не ответила, но в тяжелом взгляде ее явственно читался ответ.

– Очень вас прошу! В списке и правда только те, кто имеет шанс доехать, как мне кажется...

Белая молчала.

– Как же я могу – своей рукой вычеркнуть? – Шапиро так и стояла, со вжатыми в основание шеи кулачками, словно хотела задушить себя. – Немыслимый выбор...

– Не надо никого вычеркивать, – сказал Деев. – Мы возьмем всех. И мальчика в камзоле, и слепую Мархум, и Сеню-чувашина. И девочку беременную возьмем. И этих тоже. – Он кивнул на лежанки вокруг.

– Нет! – Белая развернулась к нему резко, будто ударить хотела.

– Да! – ответил Деев. – Я начальник эшелона. Готовьте бумаги на вывоз, – это уже заведующей. – Я подпишу.

Та только хлопала глазами, переводя растерянный взгляд с одного гостя на другого.

– У них обуви нет ни у кого, – прошептала севшим внезапно голосом, и ослабелые руки ее упали безвольно вдоль туловища. – Им хотя бы до вагона как-нибудь дойти, а уж в поезде доедут...

– И обувь найдем, – сказал Деев. – Найдем!

* * *

– Добрым хотите быть? – это Белая уже на крыльце ему сказала; даже не сказала – прошипела сквозь зубы. – Чутким? Хорошим со всех сторон?

– Хочу, – ответил Деев. – А ты не хочешь?

– Нет! – Она стояла у двери эвакоприемника, накрепко упершись квадратными башмаками в гранит, будто еще надеясь вернуться и решить вопрос по-иному. – Я хочу довести как можно больше детей до Туркестана – живыми довести! А лежачих – не довезу, только место в вагоне зря займу.

– Пусть лучше здесь умирают, значит?

Деев уже сбежал по лестнице вниз, но комиссар не двигалась с места – и он заметался по ступеням, не понимая, оставаться ли ему с ней или все же шагать дальше. Убегать, как зайцу от лисы, – не хотелось.

– Это логика выживания, Деев! Жестокая, но логика: помогать сначала тем, кого еще можно спасти.

– Их всех – можно! – Деев подскочил к ней вплотную, но никак не мог посмотреть на нее ровнех, все время выходило снизу вверх. – Спасти – или хотя бы попытаться.

– Ценой жизни других, здоровых детей?

Он впервые видел у человека такие глаза: холодные и одновременно яростные. У волков такие видел, когда бросались на людей во время охоты. У человека – никогда.

– И как тебя только партия детским комиссаром назначила?! – Отчаянно махнув рукой, Деев слетел по ступеням и рванул прочь; но не выдержал, обернулся на ходу и крикнул еще, вдобавок: – Ты не принципиальная и не бессердечная, нет! И даже не камень! Ты, Белая, враг!

Комиссар стояла на крыльце – как вросла.

– До Самарканда, Деев, я ваш единственный и самый верный друг, – ответила негромко, но он услышал.

* * *

Ну и где ее взять, эту обувь? Пять сотен пар – что пять миллионов. Не было ни у кого такого богатства – ни в торговых лабазах, ни в закромах старьевщиков, ни в базарных рядах. Город ходил в башмаках с отваливающимися подошвами, латаных валенках, лаптях и чунях из пеньки. В дождь надевал поверх деревянные копыта – куски дерева на завязках – шагать по лужам. Добротная обувь на ногах встречалась редко и была либо добыта у спекулянтов на толкучке, либо выдана войсковым каптенармусом (немало хитрецов записалось на военную службу ради одних только крепких сапог). Вот и Деев получил свои ботинки – едва ношенные, всего-то на размер больше нужного, пусть и без шнурков, словом, сказка, а не ботинки! – в

службе снабжения. Но даже на воинских складах не мог пылиться обувной запас для целого полка. Пять сотен пар доброй обуви можно было только одолжить – и только у военных.

До кремля Деев домчал быстро, будто не бежал по осенней грязи, а скакал во всю прыть: недавняя ссора прибавляла сил. Здесь, за белыми стенами древней крепости, жила военная академия – за этими стенами топтали землю, пришпоривали коней и маршировали по плацу пять сотен пар сапог, так нужных Дееву.

Но в кремль его не пустили. Часовой у ворот – дубина со штыком! – заупрямился: нет пропуска – нет допуска.

– Убийца ты! – вскипел Деев. – Пока мы тут с тобой белендрясы разводим, умирают дети. – И тотчас понял, что говорит словами Белой, разозлился пуще прежнего. – Сходи хотя бы доложи обо мне командиру!

А тот: не имею права покинуть пост.

– Криком кричать буду, – пригрозил Деев. – Орать как свинья недорезанная, звать этого самого командира твоего, пока не выйдет ко мне.

А тот: имею право вызвать милицию.

Плюнул Деев – и стал ждать. Ежился под крапающим дождем и сверлил взглядом часового, уютно укрывшегося в караульной будке, – хотел смутить. Но глаза то и дело соскальзывали ниже – на аккуратные, с любовью и тщанием чищенные сапоги служивого.

Думал о детях. А если и вправду – начнут умирать в пути?

Не начнут. Нужно только достать обувь – и дети перебегут из холодного каменного дворца в теплые вагоны. Деев закроет их в этих вагонах – на семь замков запрет, как самый ценный груз, – раскочегарит печки докрасна, чтобы лето в эшелоне наступило, – и помчит, пулей помчит в Самарканд. Каких-нибудь пара недель – и они в Туркестане.

А уж там – лето вечное. Там солнце жаркое, дожди ласковые. Там хлеб и рис. Там чудо-ягода виноград, от нее кровь быстрее бежит и румянец на щеках расцветает (сам не пробовал, но слышал). Там горы из орехов и сушеных слив, крупных, с детский кулак. И баранины вдоволь – для всех. Нужно только достать обувь...

Так и караулил ворота – на пару с часовым, до самой темноты. В крепость входили и выходили люди, по их торопливости и суетливости было ясно: не начальство. Въехал автомобиль, и по старательно протянутому из окна пропуска снова было ясно: и это не оно.

Начальство появилось уже вечером. В глубине кремля грохнул конский топот, и караульный разом вытянулся во фронт, выпучил истово глаза. Вот оно, дождался, – понял Деев.

Из ворот вылетел конь. Верхом – кто-то большой, могучий, в форменном кителе. Не различая впотьмах нашивки на рукаве, Деев кинулся под копыта:

– Товарищ командир!

Часовой рванулся было оттащить наглеца, но всадник уже осадил коня, и тот загарцевал на месте, вздымая передние ноги и грозя проломить черепа всем вокруг.

– Товарищ командир! – Деев кружил вокруг танцующего коня, стараясь одновременно докричаться до всадника и ускользнуть от караульного, что неуклюже суетился тут же, с мешающим за спиной штыком. – Пятьсот детей! Погибнут, если не помочь!

Караульный настиг-таки Деева и, не зная, как обезвредить, обхватил сзади – словно девку лапал, бестолочь! Локти оказались накрепко прижаты к телу, на спине повисла увесистая туша, не давая сдвинуться с места.

– Пятьсот детей! – надрывался Деев, перекрикивая топот копыт и стараясь вырваться из караульных объятий. – Им обувь нужна – позарез!

– Почему обратились ко мне? – Конный говорил спокойно, не повышая голоса – уверенный, что его услышат. – Откуда же у меня обувь?

– Не у вас – у ваших солдат! Пусть дадут нам взаймы сапоги – ненадолго, всего-то до вокзала дойти! Иначе застудятся дети по такому холоду! Босые они – все до единого...

– А вы предлагаете оставить босым весь корпус академии? – Всадник сидел на пляшущем коне очень прямо, держа поводья одной рукой, другую непринужденно свесив вдоль туловища (эдакую щеголеватую посадку Деев видывал не раз – у бывших офицеров царской армии).

– Так на один же только час!

– Ума лишились... – не воскликнул, просто поделился наблюдением конный. – А если в этот самый час – команда “к бою”?

– А если все они умрут от простуды – пятьсот детей? Три голодных года продержались, а сейчас умрут? – Деев выкрикнул и испугался собственных слов. – Им в Самарканд нужно, к солнцу и хлебу. Мне бы мчаться уже туда, на всех парах! А я вместо этого разговоры с вами разговариваю, время теряю... – Зыркнул зло на часового, который все еще сжимал его железной хваткой. – Мандат в нагрудном кармане. Показал бы, да руки заняты.

Всадник повелительно дернул подбородком, и караульный разжал объятия, запыхтел с сожалением.

– Вон у вас солдаты какие – сытые да сильные! – не удержался Деев, растирая помятые плечи. – Неужели часик в теплой казарме босые не пересидят?

Влез в нагрудный карман бушлата и предъявил мандат – выставил вверх развернутый документ.

Вряд ли в сумерках конный смог разобрать написанное, но наклоняться к бумаге или брать в руки не стал – погарцевал еще немного вокруг, разглядывая просителя со всех сторон, а затем скомандовал негромко:

– Явитесь в воскресенье – к шести утра, с телегой. Будете ждать здесь, у входа. Получите пятьсот пар сапог – под роспись. Вернете через два часа. Сопроводить воз и надзирать за происходящим будет кавалерийский взвод. При малейшем подозрении на кражу казенного имущества прозвучит команда “шашки наголо!”.

Ответить Деев не успел – всадник дернул поводья, и застоявшийся конь резво скакнул вперед, загромыхал копытами вниз по мощенному булыжником Кремлевскому спуску.

Воскресенье было послезавтра. Вот так и назначили день отъезда.

* * *

Сразу побежал в общежитие за вещами – заселяться в эшелон решил нынче же ночью, чтобы завтра не терять времени на суету. А хотелось побегать – к Чайнову. Хотелось – аж в груди жгло! – ворваться в начальственный кабинет и посмотреть Чайнову в глаза, по-мужски посмотреть, как ровне. И сказать: не наш она человек, Белая. Не по пути нам. Я, конечно, с бабой в эшелоне справлюсь, но крови она выпьет что твой упырь. И не моей ведь крови – детской. Ее к детям и подпускать-то страшно. А то, что должность у нее комиссарская, так это ошибка. Ответственно заявляю, товарищ Чайнов. Не жалуясь, а именно заявляю.

Но как ни крути, а выходило, жалуется Деев.

Жаловаться на бабу было стыдно.

И потому к Чайнову не зашел. Только посмотрел на горящее окно его кабинета в вокзальном флигеле и зашагал дальше по сияющим в лунном свете рельсам и хрусткому щебню к задам отстойника, где ждал собранный в дорогу пустой эшелон.

Да пустой ли? Окна одного из вагонов светились бледно-желтым керосиновым светом.

Плотники заработались допоздна? Но все строительные работы были закончены еще до обеда: Деев сам прошелся по составу, проверяя крепость сколоченных нар, и подписал башкану артели наряд о выполнении работ. Нищие искали ночлег? Воры-гастролеры пережидали время до нужного поезда?

Нащупал в складках бушлата револьвер – ни портупей, ни формы казанским транспортникам еще не выдали, и потому приходилось носить оружие по-простому, в кармане. Стараясь переступить бесшумно по шуршащему под ногами мелкому камню, подобрался к эшелону.

Снаружи в вагон было не заглянуть – окна располагались высоко, Дееву с улицы виден был только кусок потолочной обшивки. На потолке раскачивалась чья-то тень – мерно и широко, маятником.

Вынул револьвер. Медленно, затаив дыхание поднялся по железным ступеням к вагонной двери. Взглянул за ручку и так же медленно потянул на себя. Выставив оружие вперед, скользнул в открывшуюся дверную щель.

Посреди освещенного керосиновой лампой вагона колыхались женские бедра: комиссар Белая мыла пол – в одном исподнем, чуть согнув колени и выставив кверху крепкие ягодицы. Исподнее было мужское, обрезанное наподобие коротких панталон, и почти целиком открывало ноги – стройные, как мальчишечьи, с едва обозначенными округлостями икр.

– Где вы ходите, Деев? – Почувствовав чужое присутствие, Белая распрямилась и утерла лицо тыльной стороной ладони. – Был же уговор: ночью чистоту наводить.

Лампа стояла на полу – для лучшего освещения фронта работ, – и фигура женщины была подсвечена снизу каким-то фантастическим театральным светом. Голые ноги золотились ярко, в мельчайших подробностях: колени – ямочки и бугорки – будто два детских личика; лодыжки – сухие и тонкие, хоть ладонью обхвати; а ступни – так и есть! – узкие, но не маленькие, как думалось Дееву, а длинные. Ему показалось даже, что он различает крохотные волоски на внешней стороне женских голеней. Торс Белой окутывала тень, а голова еле виднелась в сумраке вагона.

– Обувь искал. – Деев не знал, куда деть глаза. – И добыл! Послезавтра выезжаем.

– Быстро, – кивнула одобрительно и подошла ближе. – Мои советы помогли? Прижали к стенке начальника горснабжения и пригрозили пожаловаться в ЧК?

Дышала глубоко, успокаивая сбившееся от работы дыхание. А пахла – солью. Из неотжатой тряпки в руке женщины капала на пол вода.

– Глаза отводите. Неужели угадала?

– А ты оденься! – вспыхнул Деев немедля. – Тогда и не буду отводить.

И заставил себя уткнуться взглядом в ее грудь – вот тебе! Пялился нахально в распахнутый створ исподней рубахи – вот тебе! – не моргая, а нарочно даже выкатив глаза и чувствуя, как теплеют от стыда щеки. Все разглядел – и шею, и бугорки ключиц, и каплю пота в ямке между ними. И сам не знал, как исхитрился в эдакой темноте, а разглядел.

– Для вас я комиссар, а не женщина, Деев. – Белая подошла вплотную, и тело его подбралось, распрямилось в струнку, словно за волосы к потолку потянули, чтобы стать хоть на вершок повыше. – Тогда какая разница, в чем я? Или в чем вы? Разве не так?

Стать повыше – не получилось.

Белая разорвала тряпку надвое и одну половину кинула Дееву под ноги. Сама же вернулась к вымытому участку и продолжила уборку.

Работала быстро и ладно. Руки размашисто скользили по полу, спина упруго раскачивалась. Волосы колыхались в такт движениям, вспыхивая золотым облаком в мерклом керосиновом свете... Деев одернул себя – отвернулся.

Вдруг понял, что все еще держит в ладони револьвер. Стал засовывать обратно в бушлат, но никак не мог попасть в карман. Попал наконец. И тут же едва не сбил ботинком ведро с водой. Да что за напасть!

Он пульнул котомку с вещами на какую-то полку, сбросил бушлат и стал разуваться. Сбежать бы в соседний вагон и там наводить чистоту – да лампа одна. Даже в другой конец вагона не улизнешь – круг света невелик, придется толкаться задами на освещенном пятачке.

Ну и потолкаются! Невелика задача – с наглой девкой пару часов полы драить. Закатал галифе по колено, а рукава гимнастерки – по локоть. Готов к уборке!

– А у меня неудача, – продолжала между тем Белая. – Начальник ваш, Чайнов, отказался вас с маршрута снимать. Сцепились мы с ним крепко. Я ему: слабоват, говорю, ваш Деев оказался – нервического склада, впечатлительный, как барышня. Не довезет...

Деев, как раз полоскавший свою тряпку в ведре, так и застыл – согнутый пополам, с мокрой ветошью в руках.

Перед ним уже недалеко маячили голые комиссарские ноги – отступая назад шаг за шагом и оставляя за собой чистые половицы.

– ...А Чайнов мне в ответ: если кто и довезет – то Деев. – Ноги все ближе. – Хоть машиниста в пути заменит, хоть механика. И паровозы, говорит, знает, как отец родных детей. Я отступаю редко, но тут пришлось. – Ноги едва не у самого деевского лица, руку протяни – достанешь. – Вы что, и правда лучший?

Деев шваркнул мокрую ветошь на пол; крупные брызги – шрапнелью во все стороны.

Сорвал через голову гимнастерку, содрал галифе, отшвырнул в сторону – тоже остался в исподнем.

Схватил тяжелое ведро и с размаху жажнул из него всю воду – на вымытое. А заодно и на ноги, гладкие да бесстыжие. Жаль, одно только ведро было!

Волна раскатилась по вагону, окатила подставку керосиновой лампы – огонек не потух, лишь колебнулся слегка. Деев шлепнулся в ту воду на четвереньки и начал рьяно орудовать ветошью – перемывать за комиссаром.

Отвечать – не стал.

Белая постояла немного, глядя на Деева, и принялась помогать...

Керосинка светила исправно – и работали они исправно, более не прерываясь на разговоры. При мытье полов разница их в росте стала незаметна. Исподние рубахи были совершенно одинаковы, а штаны отличались только длиной.

В вагоне было тихо. Тени уборщиков падали на потолок, то скрещиваясь, то расходясь. От свежесрубленных нар пахло смолой.

С верхней полки свисал подол аккуратно разложенной юбки, поверх которой прилепился темный ком – мужская гимнастерка.

* * *

День перед отъездом был – бесконечный бой.

Деев, едва вздремнувший после ночной уборки, на рассвете был разбужен увесистым тычком в плечо. Глаза открывает – человек. Даже не человек – гора: плечи еле в проходе помещаются, голова макушкой потолок подпирает. А в руке у горы – чемодан фанерный с намалеванным посередине красным крестом.

– Доктор, – обрадовался со сна Деев.

– Нет, – покачал головой человек-гора. – Фельдшер.

Слово “нет” фельдшер Буг произносил чаще остальных. “Нет, плацкартные вагоны под лазарет не возьму – окна маловаты. А вот вагон-церковь – в самый раз”. “Нет, лазарету не место в центре состава. Нужно переместить в конец”. “Нет, с таких коек больные падать будут. Оснастить каждую привязочным ремнем”.

Деев метался от эшелона к вокзальному зданию и обратно – требовал маневровку для перемещения вагонов (нашлась!), ремни для коек (нашлись! пусть и не ремни, а всего-то гуже-вые веревки), печку-чугунку для кипячения воды (и эта вдруг обнаружилась!), стол для операционной (реквизировали кухонный, из питательного пункта), одеяла для снятия озноба (с этим

оказалось сложнее всего – добыть удалось только десяток багажных мешков из холстины)... Метался по путям, исполняя указания фельдшера, и гадал: сколько же тому лет?

Человек-гора был стар и могуч. Стриженные бобриком волосы его были седы; также седы и брови, и жесткая поросль в ушах, и пышные снопы усов под носом-картошкой. Бритые щеки и шея сматы морщинами. Спина – шириной в две деевские – ссутулилась с годами, хотя от этого не потеряла внушительности, а только обрела. Руки – здоровенные, с огромными кистями, по тыльной стороне крыты старческими пятнами – не висели вдоль туловища, а слегка приподнимались по бокам, будто изнутри Буга распирала какая-то сила. Военное прошлое читалось в облике фельдшера так же явственно, как и его невероятная мощь. А возраст – не читался: движения старика были быстры, глаза совершенно молоды.

– Давно на пенсии? – спросил Деев, когда они с Бугом, обхватив с двух сторон массивную чугунку, тягали ее по вагону в поисках удобного места.

Сам он уже успел раскраснеться и замокреть лицом, а фельдшер сохранял на удивление свежий вид.

– Давно, – согласился тот впервые за день. – С прошлого века.

Значит, было ему не меньше шестидесяти: военфельдшеры уходили на гражданку после двадцати лет службы.

– Мне семьдесят один, – усмехнулся Буг, смотря на озадаченного подсчетами Деева; затем облапил печь громадными ручищами, рванул вверх и перенес к соседнему окну – в одиночку. – Не бойся, внучек, до Самарканда не помру.

– Не внучек, а начальник эшелона!

Старик шлепнул ладонью по чугунному боку печки (здесь будет стоять!) и только улыбнулся в ответ, обнажая желтые зубы – крепкие, без единой щербины или темного пятна.

* * *

А снаружи уже ждал прикомандированный кашевар. Вот уж кому молодости хватало с избытком! Мальчишка-нескладуха – тощий, словно кочерга, и такой же черный: кожа смуглая, глаза и брови как углем намалеваны, воронье волосы дыбом. Не то вотяк, не то черемис, не то леший знает кто – сам объяснить не сумел, потому как по-русски не говорил вовсе, а только понимал, да и то с трудом. Звать – Мемеля.

– Ты стряпать-то умеешь? – пытал его Деев, тоскливо разглядывая нечесаную голову поваренка и грязь под мальчишескими ногтями. – Кашу на пятьсот ртов сварганишь? А затируху из муки ржаной? А кавардак из гречи?

Мемеля кивал, старательно и часто, хлопая выгаращенными глазами. Только вот понимал ли?

Отпускать такого кашевара одного за провизией было нельзя – поехали в подотдел снабжения вместе. И не зря: не было в подотделе ни гречи, ни ржаной муки, ни другого продовольствия по списку требования.

– Чем я в дороге детей кормить буду? – грозно дышал Деев на конторщика за прилавком. – Нет по списку – выдай что есть!

– А ничего нет! – лениво отбрехивался тот, корча скучную рожу. – Ты один, что ли, на весь город – с голодающими детьми?

Деев и сам не заметил, как перемахнул за прилавок. Глядь – а уже держит конторскую крысу за грудки и в рожу ту скучную едва носом не уткнулся.

– Выдавай, говорю, – шепчет на ухо, – пока в ЧК на тебя жалобу не накатыл...

На том и сошлись. Вместо гречи было дадено Дееву пшено; вместо муки – овсяные отруби; вместо хлеба – просо и горох. Еще досталось кукурузы немного и ржаных поболтков,

а соли и жмыха подсолнечного – вдосталь. Деев сам шуровал по полкам в поисках утаенных сокровищ – масла, кофе или вяленой рыбы, – но такого богатства на складе не водилось.

Как не было ни ножей, ни мисок с ложками. Взамен пришлось принять полковые кружки из олова, с гравировкой в виде скрещенных штыков и надписью “За отличную стрельбу”, – этих было несметно. Кашу из них можно было не есть, а пить, про супы-кисели и говорить нечего – всё ж лучше, чем ладонями из котла хлебать! Кружки были еще царские, но гербовый орел имелся только на дне и такой мелкий, что напоминал крошечную кляксу, на которую вполне можно было не обращать внимания.

Все это время Мемеля жался у стены, застенчиво кивая – Дееву, конторщику-подлецу, ящикам со звякающими внутри кружками, – похоже, поваренок был весьма робкого нрава и малость дурковат. Вот уж повезло Дееву с кадрами!

– Хоть раз пригорит каша – ссажу на первом же полустанке, – пригрозил обреченно, когда на пару с Мемелей таскали добычу в ожидающий воз.

Пригрозил, хотя и знал: никого он не выгонит и никого не ссадит, потому как помощников у него – чуть.

Мемеля с готовностью тряс башкой, соглашаясь. Затем забрался на телегу и принялся ласково гладить мешки с крупой, нашептывая им что-то успокоительное на своем языке.

* * *

Не успели подвезти к вагону-кухне и разгрузить добытую провизию – прибыли социальные сестры. Явились не по одной, а целой стайкой: одиннадцать сотрудниц – в три раза меньше, чем требовалось для такого эшелона. Но больше в Наркомпросе не было – очевидно, Дееву полагалось быть благодарным и за это.

Морщинистые лбы, изогнутые коромыслами рты, шишковатые пальцы – сестры были суровы на вид и молчаливы. Эту строгость и преклонные годы женщин Дееву хотелось бы принять за опытность и обрадоваться, но не вышло: все сестры были новобранцы.

Бывшая горничная. Чиновничья жена, чей муж сгинул в беспокойном семнадцатом. Овдовевшая попадья. Разорившаяся портниха. Башкирская крестьянка, потерявшая в Гражданскую всю семью и дом. Волостная библиотекарьша, что перебралась в город с началом голода, потому как волость ее наполовину вымерла, а книги были растащены и сгорели в печах...

– Социальные работники есть? – безнадежно спросил Деев, прогуливаясь вдоль выстроившихся у состава в ряд новоприбывших и оглядывая их выцветшие платки и потертые шляпки.

Ответа не услышал.

– Учителя?

Нет ответа.

– Сестры милосердия?.. Сиделки?.. Нянечки?

Одна из женщин сделала шаг вперед, и Деев умолк на полуслове. Как не заметил он раньше эдакую паву? Казалась она моложе остальных – еще далеко до сорока – и красива так, что в первую минуту знакомства хотелось не говорить с ней, а только любоваться. Темные глаза и брови, и белизна лица, и прекрасная полнота тела – все это шло одно к другому необыкновенно. В голове завертелось невесть откуда пришедшее, нелепое: “персидская княжна”.

– Я имею представление об устройстве человеческого организма, – сказала. – Первую помощь ребенку или взрослому оказать смогу.

По мягкости произношения было слышно: татарка. Значит, княжна не персидская – татарская. Деев сглотнул пересохшим горлом и постарался придать голосу наибольшую начальственность:

- Медичка?
- Ихтиолог.
- Кто? – по-детски растерялся он.
- Специалист по изучению рыб.

Деев понял, что хлопает глазами, – в точности как Мемеля. Оторвал взгляд, откашлялся, свел брови, угрюмо оглядел остальных. И сестры глядели на него – угрюмо.

– Училась в университете Цюриха, на факультете естественных наук, – продолжала княжна. – Биологию изучала углубленно.

Деев не знал, где этот Цюрих – в Германии или в Голландии. И какие именно науки именуют естественными, не знал тоже.

– За ранеными ухаживала?

– Нет. Работала в Казанском ботаническом саду. Моей задачей было создание экзотической коллекции для аквариума.

– Какой коллекции? – вновь не сдержался, переспросил.

И рассердился, что переспрашивает уже который раз – как идиот. Умела же эта женщина загадками говорить, других дураками выставлять!

– Экзотической. Иными словами, редкой. Морские коньки, рыбы-клоуны, рыбы-бабочки... – карие глаза внезапно сделались ласковы и мечтательны, – ...мавританские идолы, императорские ангелы...

– Что ж тебе не сиделось-то в саду этом ботаническом вместе с ангелами, идолами и императорами?! – не стерпел Деев. – Что ты ко мне-то в эшелон пришла – место чужое заняла? Если б не ты, может, Наркомпрос санитарочку бы какую прислал, или аптекаршу, или сиделку! Все одно лучше, чем рыбачку...

– Нет больше ботанического сада, – ответила спокойно. – Лошади съели.

– Какие лошади? – опешил он.

– Там был расквартирован кавалерийский полк – в восемнадцатом. И лошади съели все растения-экзоты – вместо сена. А что не съели, то пустили на растопку в девятнадцатом.

– Господи, а рыбоньки твои как же? – ахнула одна из женщин.

– Рыбоньки?! – разъярился вконец Деев. – А ну, слушай мою команду, товарищи сестры! Разбиться по двое – и по вагонам! Помещения подготовить для приема детей. Свои спальные места отгородить занавесками. Керосин для ламп и уголь для печей – получить. А болтовню – отставить. Марш!

Женщины встрепенулись, засуетились, залопотали между собой, разбиваясь на пары. Минута – и разбежались по вагонам. Вот как с ними нужно: не рассусоливая, погрозней!

Одна лишь княжна стояла на прежнем месте, словно и не слышала приказа. Дождалась, пока вокруг никого не осталось, и подошла вплотную к Дееву.

В ее блестящих черных волосах, разделенных пробором ровно посередине и уложенных позади головы в узлы и косы, он заметил седые пряди.

– Не изводите себя так, – сказала мягко, глядя в глаза. – Женщины справятся с детьми, на то они и женщины. У меня тоже был сын, так что укачать ребенка или накормить – смогу.

Это самое “был” произнесла по-особому, и Деев не решился ей пенять, что ослушалась команды.

– Звать как?

– Фатима Сулейманова.

Так и есть, татарка.

– Кроме татарского, какими языками владеешь, Фатима?

В эшелон ожидалась очень разные дети – знание чувашского или черемисского было бы полезно.

– Арабским, французским, – начала перечислять, – еще немецким, конечно. В университете посещала курс древнегреческого, но факультативно и всего один год...

– Ладно, – сокрушенно махнул рукой Деев. – Иди, Фатима, устраивайся. Завтра вставать рано.

Она развернулась и пошла вдоль состава – с такой прямой спиной, будто несла свой кургузый чемоданчик не в руке, а на голове. Ноги в разбитых ботинках ставила на землю аккуратно, как ставят балерины в кинематографе.

Деев смотрел на ее ветхое пальто, явно с чужого плеча, на нитяные чулки, гармошкой собравшиеся у лодыжек, – и думал о том, что по возрасту она могла бы быть его матерью.

* * *

Старик на восьмом десятке жизни, стайка пожилых клуш и бессловесный дурачок-повар – вот она была, деевская дружина. Вот кто был назначен поддерживать его и помогать в многодневном пути: содержать в чистоте “тирлянду” и ее пассажиров, кормить их, лечить и оберегать. Вот кому вверял Деев детские жизни – вверял, сам того не желая. И за кого должен был отвечать как за самого себя.

Была еще ехидна-комиссар, но та с утра куда-то запропастилась. Деев подозревал, что улинула она спозаранку не просто так – верно, отправилась в дом мальчиков на Воскресенской, откуда также ожидалось эвакуированные. Туда полагалось бы сходить и Дееву, но разве оторвешься от суматохи у эшелона?

Белая явилась пополудни. Деев увидел ее из окна вагона – спокойную, деловитую, шагающую по путям с вещмешком за спиной, – и внутри шевельнулось внезапно теплое и радостное чувство: при всей суровости комиссар была надежна как штык.

– Вы уже добыли дополнительный вагон? – спросила вместо приветствия, распахивая дверь купе. – Где же вы разместите всех, кого так милосердно согласились принять вчера – и кого непременно обещали довести до Самарканда?

Радость пропала тотчас.

– По двое-трое лягут, не बारे. – Деев как раз дописывал срочно понадобившийся вокзальному начальству акт – принимал сформированный санитарный поезд в количестве восьми вагонов, включая походную церковь и полевую кухню.

– Лягут, – согласилась Белая. – А ночью попадают с верхних полок и руки-ноги переломают, а то и хребты.

Деевский карандаш замер на бумаге, не добежав до конца строки. Комиссар была права: случиться такое могло, и вполне вероятно.

– О чем же вы думали, когда обещания раздавали? – продолжала тихо и уже знакомым Дееву прокурорским тоном.

Добыть еще ремней и на ночь привязывать спящих на верхних полках, как привязывают беспмятных больных в лазарете? Ни веревок, ни канатов на вокзальных складах не имелось – Деев сам поутру выгреб все запасы по требованию фельдшера.

– Добрым быть – это вам не обещать с три короба. Не вздыхать и не слезы ронять над бедными лежачими. Это вам не душу свою жалостливую напоказ выставлять! – говорила негромко, но лучше бы криком кричала. – Добрым быть – это думать обо всем. Опасаться – всего. И предусмотреть – все. Добрым быть – это уметь надо. Уметь отказать. Приструнить. Наказать...

Уложить детей на полу? И застудить в первую же ночь. Отдать им два штабных купе – Деева и Белой – и лечь на полу самим? Двух купе не хватит для размещения нескольких десятков пассажиров.

– ...А душу свою сердобольную – в карман поглубже запрятать, чтобы не торчала. Иногда быть добрым – это казаться злым!

Что-то треснуло негромко – карандаш в руке переломился пополам.

Белая так и стояла в дверном проеме, не заходя внутрь и глядя на застывшего Деева.

– Не ломайте имущество, – сказала, наглядевшись. – Дом мальчиков согласился на уменьшение квоты. Так что повезем пятьсот детей – как и планировали, без превышения.

Полсотни мальчиков-сирот оставались в дождливой Казани ждать зимы, уступив место полусотне инвалидов из эвакуационника.

Деев со стуком положил обломки карандаша на недописанный акт и тяжело посмотрел на Белую.

– А вы уж до завтрашнего утра постарайтесь больше никому ничего не обещать! – Комиссар хлопнула за собой купейной дверью, и из прикрепленного на створке большого зеркала уставилась на Деева его собственная физиономия – с торчащими желваками и сжатыми в нитку губами...

Ругаться в кутерьме дел было некогда. Да и нечего было Дееву сказать. Он хлопотал до ночи – в поезде и вокруг него; в кабинете Чайнова и на привокзальных лабазах; в депо, где готовился к выезду паровоз для эшелона; в брехаловке, где перекуривали ремонтники, – хлопотал и думал о незнакомых мальчиках из дома на Воскресенской.

Он не знал их лиц и имен – и хорошо, что не знал. Не мог перед ними оправдаться – да никто и не требовал оправданий. Не мог ничего обещать – да и чего стоили обещания перед лицом грядущей зимы? Деев мог только стараться – стрелой домчать состав до Самарканда и так же быстро домчать обратно, пока безымянные мальчики пережидают холода в залах, где по полу кружит поземка. А затем – если зима не кончится, поезд не расформируют, Деева не снимут с маршрута, а мальчиков не отправят в приемные семьи – затем он возьмет их первыми. Слабый довод, но другого у Деева не было.

А еще он думал о детях, которых узнал вчера, – о пацаненке с одним ухом, о слепой Мархум с белыми глазами, о мальчугане в бархатном камзоле, о Сене-чувашине. Думал и понимал, что оставить их в приемнике не сумел бы. И понимал, что боится, до холода в животе боится: не окажется ли Белая права? Одно слово, характер у него – тряпка...

Так, в хлопотах и мыслях, Деев не заметил, как стемнело. Этот безумный день – нескончаемый бой за печки, уголь, керосин, провизию, тазы и половники, лопаты и ведра, бинты и веревки, мешки, котелки, за лучший паровоз в депо и за самого непьяного машиниста – все это было кончено и осталось позади. Наступала ночь, последняя перед отъездом.

Но ни оставаться в купе, ни тем более заснуть Деев не мог. Обойдя состав и по нескольку раз предупредив каждого о предстоящем раннем подъеме, он помаялся еще немного, потоптался в темноте у штабного вагона. А затем ухватился за поручни – одни, вторые; после – за подвесы для ламп; уперся ногами в торец соседнего вагона, подтянулся – и взлетел на крышу.

Жесть – скользкая от сырости и холодная; но Дееву гулять по верхам не привыкать. Он пробрался ближе к центру вагона и сел, прислонившись к трубе отопления.

Ночь была уже черна. Справа от Деева тянулись едва поблескивающие линии рельсов, за ними – огни вокзального здания, а дальше и вовсе мелкие – городские огни. Слева, за ивовой порослью и комочками подсобных домов, угадывалась необъятная ширина Волги. Над головой дышало ветром и влагой октябрьское небо.

Висевшая в воздухе сырь легла Дееву на лицо и плечи, грозила вот-вот обернуться моросью. Он обнял колени руками и решил упрямо сидеть, пока не покажется в этом сумрачном небе хотя бы одна звезда.

Эшелон под ним не спал: блеклые квадраты света падали на землю справа и слева от каждого вагона. Тихо звякало что-то в полевой кухне – видно, Мемеля драил без устали вверенную ему посуду. Фельдшер Буг, заложив руки за спину и хрустя щебенкой, отправился гулять по путям и пропал в темноте. Две сестры осторожно спустились на улицу – но не с той стороны,

где вытоптанная земля и просторно, а с другой, где бурьян и кучи мусора, – и, перешептываясь и пересмеиваясь, курили тайно от всех.

А затем, уже докурив и отсмеявшись, одна из них запела негромко. Песня была протяжная, ласковая, и Дееву хотелось, чтобы женщина пела громче, но кричать через ночь и пугать не стал. Ветер уносил половину слов, а вторую Деев едва ли знал, потому что пела сестра по-татарски, – но удивительным образом понимал.

*Спи, мой мальчик,
Спи – и просыпайся мужчиной.
Уже оседлан конь и натянута тетива.
Времена зовут тебя. Народы – ждут.*

Дееву остро захотелось, чтобы поющей оказалась Фатима, однако в темноте лица женщин было не различить.

*Дорогам – быть истоптанным тобой.
Врагам – быть истребленными тобой.
Скорее спи – и просыпайся мужчиной.
О мой мальчик!
Сердце моего сердца, мой возлюбленный сын!*

И в небе – ничего не различить: ни тучи, ни светила, ни единого лунного луча. Долго ли сидеть еще, ожидая загаданную звезду? Деев ежился и пялился вверх, в черную небесную вату, – ждал.

* * *

Сапоги – одна тысяча штук, пять сотен левых и пять сотен правых, – шуршали по брусчатке. В темном утреннем городе этот шорох раздавался громко и заполнял собой всю Рыбно-рядскую, все прилегающие улочки и проулки. Заглушал высокие голоса муэдзинов на минаретах, шаги редких прохожих. Пять сотен пар ног шаркали по мостовым камням, не в силах оторвать подошвы от земли.

Кавалерийский сапог был так велик, что некоторые дети могли бы поместиться в нем целиком – с головой утонуть в гигантском голенище. И потому шагали медленно, подхватив доходящие чуть ли не до подмышек сапоги руками, – процессия едва волоклась по улице, растянувшись длиннющей кишкой. Иногда кто-то кувыркнулся на землю, споткнувшись о выступающий булыжник, и тогда вся кишка замирала и терпеливо ждала, пока взрослые не помогут упавшему, – сами подняться в таком снаряжении дети не могли.

А взрослых помощников было совсем немного: вел процессию Деев, замыкала Шапиро, несколько сотрудниц эвакуационника суетились по бокам. Были еще конные, но этим спешиться было бы затруднительно. Сидели в седлах молчаливые и строгие, уткнув подбородки в воротники шинелей. За спиной у каждого маячила винтовка, с пояса свисала шашка в ножнах. Из-под шинели торчали голые ступни.

Дееву казалось, кавалеристам стыдно за свою теплую амуницию перед детьми, одетыми в рваное и ветхое, укутанными в обрывки гобеленов и штор. Сам он был рад, что не ехал сейчас верхом, а топал вместе со всеми. Жаль только, своими ботинками поделиться ни с кем не мог.

Позади тащилась подвода с лежачими: больных уложили рядком поперек воза, плотно прижав друг к другу, как дрова в поленнице, и все они влезли, еще и место для пары малышей

осталось. Телегу, на которой приехали утром сапоги, также отдали под малышню – годовалых и двухлеток.

До вокзала добирались невыносимо долго. Уже поутрело, уже улицы наполнились пешеходами и трамваями, уже дали – сначала по одному, затем по два, затем по три гудка – городские заводы, а кишка из детей все ползла и ползла. За ней образовался шлейф из беспризорников – приходилось отгонять их, чтобы не совались в ряды; это отвлекало взрослых, замедляя и без того черепаший ход процессии. Уже давно истекли два часа, отпущенные Дееву. Он то и дело с опаской поглядывал на конных – а вдруг прикажут разуваться посреди дороги и заберут армейское имущество? – те были невозмутимы. Начал было подгонять шагающих, чтобы топали шибче, – старшие только огрызались в ответ (“И без того вспотели костылять!”), а младшие послушно прибавляли шаг, но тут же запинались и падали. Вспотел и Деев, несмотря на злую утреннюю прохладу, – то ли от всей этой беготни, то ли от волнения за данное и невыполненное слово.

Наконец доползли до вокзального здания. Теперь только перебраться бы через пути к задам отстойника, где ожидал эшелон (пешим самостоятельно, а больным и малым на руках у взрослых), затем распихать всех быстренько по вагонам, и – спасибо за помощь, товарищи кавалеристы, счастливо оставаться!.. Да не тут-то было.

Дети не могли шагать через рельсы. Обутые в огромные сапожищи, они спотыкались о шпалы и увязали в щебенке. Ведомый Деевым отряд кое-как перебрался через пару путей и забуксовал – ровно посередине полотна из многочисленных стальных линий и деревянных поперечин. Ребята постарше как-то еще шкандыбали вперед, матерясь, а малыши повалились направо и налево, кувыркаясь друг через друга и выскакивая из великой им обуви. Деев и Шапиро заметались, словно квочки у выводка птенцов, поднимая упавших и потерянную обувь, сбивая расплзающихся детей в кучу, – но поднятые через пару шагов снова летели на землю. Уставшие от долгого перехода задние ряды не желали ждать, напирали, вылезали на полотно – и тоже валились с ног. Ни остановить колонну, ни повернуть назад было уже невозможно – она растеклась по рельсам вширь и растянулась через все пути, от главного перрона и до путевых задворок.

Загудел подваливающий справа маневровый. Слева забасил паровик – зашипели тормоза, сталь завизжала о сталь, и черное паровозье рыло нависло где-то вверху, совсем близко. Деев только и успел – прыгнуть к нему, подняв руки и загородив собой детей, – а оно все басило, надвигаясь и обдавая волнами тепла и влаги.

– Дура! – орал, высунувшись из окна, красный от ярости машинист. – Убери малят!

Но паровоз уже остановился – и Деев, только отмахнув рукой в ответ, опять бросился к своим...

Паровику пришлось подождать. И маневровке, и паре дрезин с путевыми рабочими. Все машины и механизмы замерли на путях, уступая дорогу детям.

* * *

“Гирлянда” стояла на прежнем месте, но подход к ней был затруднен: соседнее полотно занял товарный эшелон, которого утром еще не было. Меж двумя составами образовался длинный проход – по нему детям и предстояло достичь вагонов.

А в начале прохода будущих пассажиров ждала Белая. Ждала не одна: тут же стоял невесть откуда взявшийся стол с гнутыми, лакированными некогда ножками (судя по всему, реквизировали из станционной рюмочной); на нем – стопы бумаг, придавленные обломком кирпича, чтобы не унесло ветром. Рядом сидел на перевернутом ящичке фельдшер Буг в белом халате поверх кителя и замерли в ожидании сестры – выстроившись в линейку, с одинаковыми напряженными лицами, и только одна примостилась за столом с карандашом в руке.

– Это что еще за писчая контора?! – Деев, основательно замокревший от беготни по рельсам, первым добрался до “гирлянды”.

Позади пыхтели старшие дети – самые выносливые и длинноногие; за ними ковыляли ребята помладше, а малыши плелись в самом конце процессии, подгоняемые Шапиро и ее коллегами. Замыкали толпу кавалеристы сопровождения.

Комиссар едва взглянула на него – и закричала вдруг так зычно, что между вагонами задрожало и зазвенело эхо:

– Товарищи дети, подростки и переростки! Меня зовут комиссар Белая...

Деев аж вздрогнул от силы комиссарского голоса. А подростки и переростки – нет.

– Комиссар-комиссар, проводи на писсуар! – немедля загорланил один в ответ – одноухий, кого Деев заметил еще в приемнике.

Белая только посмотрела на наглеца пристально – как припечатала взглядом.

– Даю приказ! – продолжила. – В затылок друг другу стр-р-р-ройсь! По одному, не толкаясь и не бранясь, к доктору подходи! Рубахи задир-р-р-рай!

– Как это “по одному”? Мне сапоги сдавать пора! – вознегодовал Деев. – Я командиру академии обещал!

Солнце уже поднялось над привокзальными тополями – всюю ползло по блеклому небосклону: судя по всему, минуло девять часов, а то и с четвертью. Но Белая лишь положила ладонь на деевское плечо и сжала со значением: обожди, не до того сейчас. Плечо потеплело, словно горчичник наложили. Деев уставился на женские пальцы, обхватившие его рукав: пальцы были длинные, с ровными и розовыми ногтями.

– А сама-то задерешь? – не унимался одноухий. – Я бы глянул, что у тебя под рубахой спрятано!

И вот уже проснулись другие пересмешники – загоготали, заулюлюкали, присвистывая:

– Мне бы не врача, мне бы калача!

– Не хочу лечиться, а хочу мочиться!

– Дайте помочиться, а не то случится!

– Умолять не стану, – голос у комиссара был жесткий, как мужской. – Кто не желает – становись в сторонку. Все бузотеры, квакалы и спорщики, все задиралы и забияки – сюда! – Она сняла руку с деевского плеча (а плечо-то продолжало гореть!) и ткнула пальцем куда-то в начало “гирлянды”, рядом с полевой кухней. – Все гордецы и ослушники – сюда же! Останетесь в городе.

Обращалась будто бы и ко всем, но смотрела только на одноухого – смотрела, не отрываясь и слегка откинув высокую голову, словно еще более увеличивая и без того немалый свой рост.

А тот пялился на нее – нахальными и взрослыми совершенно глазами, ярко-голубыми на буром лице. Тельце у пацаненка было костлявое и кургузое, а ноги столь кривые, что казались едва не короче туловища. Ему могло быть лет десять, а могло – и все четырнадцать.

– Остальные, когда сядут по вагонам, получают обед. Товарищ кашевар, что у нас на обед? – Белая шарахнула кулаком по кухонной двери, та послушно отъехала в сторону – показался Мемеля в грязно-белом колпаке и с кастрюлей в руке, замычал что-то невнятное.

– Слыхали? – со значением подняла брови Белая. – То-то же!

При виде кашевара и кастрюли ребятня заволновалась, загудела возбужденно.

– Хиловат поваренок, не сдюжит! – продолжали ерничать старшие, но уже слышно было по звонким их голосам – рады.

– Кашу пусть заварит, и погуще! – просили сзади. – Нам каша – родная мамаша!

– А махорка после обеда полагается? – все еще ломались первые ряды.

И видно было: сдерживаются из последних сил, чтобы не помчаться опрометью к фельдшерскому столу на осмотр, а затем – по вагонам.

– А марафет? – не унимался одноухий, норовя перекрычать остальных. – Без марафету – жизни нету! А с марафетом... – взял паузу, как опытный актер, и окинул победительным взглядом сотоварищей, – ...с марафетом и ты, комиссар, за бабу сойдешь!

Первые ряды грянули хохотом. Шутка полетела дальше по толпе, передаваемая из уст в уста и сопровождаемая смешками и вскриками.

– Грига, стыдно! – Подбежавшая Шапиро бросилась к одноухому, трясая ладонями и словно желая заткнуть дерзкий рот, а Грига только склабился довольно.

– Отчего же, – возразила Белая, высоко поднимая руку и унимая раззадоренную толпу. – Вопрос по существу. – Она пошла вдоль рядов, быстро и внимательно заглядывая в глаза всем хихикающим. – Отвечаю: ни марафета, ни кокса, а также антрацита, кикера, мурсы, нюхары, мела, муки и соды в эшелоне не будет. А у кого заведется – тот полетит из вагона вон. Даже тормозить не станем – выбросим нюхача на ходу, и все!

– А ежели мы не хотим на ходу выбрасываться? – Грига Одноух все еще сиял улыбкой.

– Тогда иди первый, – предложила Белая во всеуслышание. И тут же добавила, пока тот не спохватился: – Или цыца попёрла?

Грига, продолжая улыбаться, сплюнул на землю – искусно сплюнул, не закрывая губ и не разжимая зубов. Поразмывлял, театрально закатив глаза к небу, и – лениво, едва перебирая ногами – направился к смотровому пункту.

Фельдшер Буг, даже сидящий, казался рядом с хилым пацаньим тельцем горой. Грига со скучающим видом задрал рубаху и выкатил тощее пузо – позволил покрутить себя в разные стороны, предъявляя ребристые бока, пестрые от синяков и ссадин разной свежести. Когда Буг положил могучие лапы на мелкую Одноухову голову для осмотра глазниц и зева, тот, казалось, и вовсе пропал из виду. Но скоро вынырнул – с противоположной стороны стола. Осмотр был пройден.

– А теперь выкладывай контрабанду, – приказала Белая. – А вы, сестра, – это одной из женщин, – помогите.

Непонимающе вытаращив и без того большие зенки, Одноух вывернул наизнанку карманы ветхой куртяйки и помахал ими, словно крыльями: пусто. Под одобрительный хохоток зрителей попытался вытрясти что-то из единственного уха: пусто. А затем – никто и сказать ничего не успел – спустил штаны и, ухватившись ладонями за тощие голые ягодицы, развел в стороны и повертелся старательно – вот, мол, полюбуйтесь, и здесь пусто! Первые ряды заверещали от восторга, а задние заволновались, загалдели вопросительно – им было плохо видно.

Сестра – видно, получившая указания от Белой, – попыталась было обыскать бесстыдника, но тот завизжал поросенком:

– Щекотно! Пусть меня лучше комиссар шмонает, у нее опыту больше!

– Что в сапогах? – Белая подошла к смотровому столу, но встала сбоку – чтобы не закрывать наблюдателям обзор.

– А ты к нам прямиком из Соловков? – ухмыльнулся Грига. – Или еще где шмаляла?

Вынул из сапога черную от грязи голую ногу и водрузил на стол поверх разложенных бумаг – аккурат под нос ошарашенной сестре. Пошевелил пальцами: мол, вот что у меня в обуви – и ничего больше! С ноги упала на документы жирная вошь и поползла по бумаге.

– Там целая военная академия босая ждет! – спохватился Деев. – Обувь надо возвращать – сейчас же! Долго мы тут будем в раздевалки играть?

Не отвечая, Белая наклонилась стремительно и выхватила из-под Григи пустой сапог. Пацан дернул изменившимся лицом и метнулся было за сапогом, но лежавшая на столе нога подвела: не удержался, плюхнулся на землю. А Белая уже доставала из глубоких сапоговых недр тряпичный кулек – замотанный в обрывки ветоши и газеты самодельный резак. Подняла его над умолкнувшей толпой и постояла так пару мгновений, чтобы все рассмотрели хоро-

шенько. Затем кинула на стол. И только после этого посмотрела со значением на Деева, взглядом отвечая на недавний вопрос.

– Оружие в нашем эшелоне только у одного человека, – сказала с нажимом. – Деев, покажите.

Он достал из кармана револьвер и поднял над головой – высоко поднял, как только что делала Белая. И подержал в воздухе, как она. В толпе уважительно засвистели.

А Грига Одноух вставал с земли, но это был уже совсем не тот Грига: яркие глаза его потухли и спрятались под ресницами, голова утонула в ссутулившихся плечах, тельце из мелкого стало и вовсе крошечным. Даже не отряхивая грязи с перепачканной одежды, он дрыгнув обувью ногой – и второй сапог полетел, кувыркаясь, в сторону Белой, но не долетел и шлепнулся у ее ног.

– Или нож – или эшелон, – сказала Белая твердо.

– Это не просто нож, – Грига бормотал еле слышно, с придыханием. – Это Зекс. Мы с ним три года вместе.

Брови и губы его дрожали, подбородок сморщился жалобно – никаких четырнадцати ему не было и в помине, а может, не было и десяти.

– Второй вагон, – подытожила беседу Белая. – Сестра, проводите.

И отвернулась от Григи.

– Не имеешь права имущества лишать. – Тот все топтался позади нее, маленький, жалкий, приклеившись взглядом к лежащему на столе резаку – не в силах покинуть любимого Зекса. – Неправая ты, комиссар.

– У нас дела, как в Польше, – произнесла Белая веско, даже не поворачивая головы и громко, чтобы всем слышно было, – тот прав, у кого хер больше.

– Это у тебя, что ли? – горько спросил Одноух ее равнодушную спину.

– У меня, – ответила комиссар.

Не Григе ответила – замершим в ожидании зрителям.

– Директорша, миленькая! – вдруг заголосил Одноух тонким голосом, и на лице его проступило настоящее страдание. – Шапирка, золотая наша! Как мать прошу вас, возьмите у нее мой нож и берегите его! Вы добрая женщина, вы детей спасаете – и Зекса моего спасете! А я после Туркестана вернусь – и перво-наперво к вам, за Зексом!

Белая кивнула разрешительно, и бледная от чувств Шапиро взяла нож – неловко взяла, за лезвие, едва не поранившись, – и опустила в свой потрепанный ридикюль...

Дальше все покатило быстро. Очередь потекла к фельдшерскому стулу с заранее поднятыми рубашками и высунутыми языками. Заточки, гвозди и бритвы посыпались на стол. Сестры забежали вдоль эшелона, разводя детей: мальчиков помладше – в один вагон, постарше – в другой, девочек – в третий. Изредка фельдшер вздыхал озабоченно и кивал Шапиро – та забирала и отводила в сторонку детей, чей вид не понравился Бугу: эти несчастливцы оставались в Казани, им была дорога в городскую больницу.

Белая носилась в узком проходе меж двумя составами – переставляла младших вперед, подбадривала уставших, отражала пацаньи шутки и сама отпускала остроты, отдавала приказы, кричала, махала руками – летала, как большая птица. Лицо ее было вдохновенно и счастливо.

Деев таскал на руках малышню с оставленных на привокзальной площади телег через пути, к “гирлянде”. Ему помогали кавалеристы: не слезая с седел, они брали из деевских рук ребятишек – неумело брали, оттопырив локти и держа детские тела на весу наподобие штыков, – и нежно сжимали босыми пятками лошадиные бока. Едва умеющие шагать через рельсы, лошади переставляли копыта медленно и плавно – не шли, а плыли по путям, неся всадников и их диковинный груз.

Плечо, которого мимолетно коснулась Белая, все еще теплело. На ползущее к зениту солнце Деев старался не смотреть.

* * *

Когда все годовалые и двухлетки были уже в эшелоне – их решили везти в штабном вагоне, в самых мягких купе и поближе к ванной, – настала очередь лежачих. Главная хитрость была в том, чтобы перетаскать их в состав, не показывая Бугу: тот не знал, что ожидаются лежачие; Деев не решился рассказать, опасаясь твердого фельдшерского “нет”. Не знал Буг и того, что поселить больных Деев задумал в лазарете.

Потому носил их сам, не доверяя кавалеристам. И – контрабандой: по пути к “гирлянде” нырял на обочину, в заросли ивняка и навалы щебня, чтобы подобраться к составу с тыльной стороны. Обходил эшелон со спины, бежал быстро и тихо – не приметили бы с площадки осмотра, – сзади забирался в лазаретный вагон. Аккуратно раскладывал детей по койкам – девочек налево, мальчиков направо – и спешил за следующими.

Были они легкие, как бумажные. И прохладные на ощупь, как ящерицы. В их невесомых почти уже телах не было силы: дети едва умели поднять свесившуюся руку или ногу, удобнее повернуть голову. Их можно было таскать в охапке, по двое или трое, но Дееву это казалось неправильным. Носил по одному, бормоча без устали: “Каша будет скоро. Скоро будет каша. Скоро, скоро, скоро будет каша...” Дети не отвечали. На лица старался не смотреть – не мог выносить этот взгляд, который у всех лежачих был одинаков: по-старчески мудр и совершенно равнодушен. Дети не должны так смотреть. Никто не должен.

При виде каждого ему хотелось зажмуриться – и стыдно было перед собой: не чудовищ же носит! Заставлял себя хоть иногда взглянуть на ребенка – прямо в усталые его и бесстрастные глаза взглянуть – и улыбнуться ободряюще. Выходила не улыбка, а гримаса: губы отчего-то перестали слушаться.

Тело его взмокло до последней складки, будто мешки с зерном тягал, но то был не горячий и чистый утренний пот от возни с малышкой, а холодный и вязкий, несохнувший. И в животе тоже ворочалось холодное и вязкое. И пальцы стали ледяные, словно заразился от лежачих чем-то холодным.

Только сейчас, беря в руки эти маловесные организмы, Деев осознал, насколько они хрупки. Кости детей казались ломкими, как хворост. Кожа – нежной, как паутина. И боязно было любого неловкого движения: как бы не сломать тоненький хребет, не проткнуть нечаянно ребра. Пугало все: как дети открывали глаза (не случилось ли чего?) и как закрывали (откроют ли вновь?), если дышали громко (им худо?) и если тихо (дышат ли вообще?), когда лежали неподвижно и когда шевелились...

Некоторые – разговаривали. Поначалу Деев радовался столь явному признаку жизни, а позже перестал.

– Я сегодня мед ела, – сообщила по пути одна из девочек тихим и отчетливым голосом.

– Ох как хорошо! – обрадовался Деев. – Кто же тебя угощал?

– Три фунта наела, – продолжала та, словно не слыша вопроса. – А вчера все четыре. А третьего дня пять фунтов осилила. Я бы и больше наела, да воск в зубах вязнет.

Деев смотрел на тонюсенькие лапки, скрюченные и прижатые к груди, на черные глазищи под невероятно густыми щетками бровей, на сжатый в узелок рот – и думал, что девочка и правда похожа на пчелку. Весила она фунтов тридцать, не больше.

– И патоки целую бочку выпила.

Деев нес ее и кивал молча: боялся, что при разговоре голос дрогнет.

– Ты здесь главный? – Девочка посмотрела на него очень ясным взглядом.

Он кивнул опять.

– Кормить будешь?

Кивнул.

– Меду дашь?

– Сначала каши, – сказал Деев. – Скоро, Пчелка, скоро будет каша...

Прозвища возникали сами. Не спавшая толком вот уже две ночи и оттого мутная слегка деевская голова – будь она неладна! – выстреливала эти нелепые клички, как только он брал на руки очередного ребенка: Долгоносик – мальчишка с длинным шнобелем, который один только и виднелся на крошечном и костистом лице; Циркачка – девочка, чья кожа так обвисла, что напоминала мешковатое, не по размеру цирковое трико; Утюжок – пацаненок с тяжелой нижней челюстью и впалыми, всегда закрытыми глазами... Стыдно было этих дурных и обидных прозвищ, но голову-то – не отстегнешь!

Сеню-чувашина решил нести последним – этот мог закричать и выдать Деева раньше времени. Но сегодня мальчик был на удивление тих: всю дорогу от приемника лежал молча, не спал, иногда лишь дергался мелко, собирая с тела насекомых – настоящих и вымышленных. А затем – съедал.

Деев понял это, уже когда тащил Сеню к эшелону: тот продолжал искаться и на руках у Деева. Сил у мальчика было немного, и оттого движения – экономны и точны: двигались только руки – перемещались рывками по телу, вверх и вниз, цапая добычу; лицо при этом оставалось безучастным, голова не поворачивалась. Поймав насекомое, Сеня отправлял пальцы в рот и плотно обхватывал губами. Через мгновение дергалась шея, посылая пойманное в пищевод, а руки вновь опускались к туловищу.

– Не надо, – не стерпел Деев. – Не ешь их.

Сеня возразил печально:

– Тогда они меня съедят.

– Кашу будешь есть, – забормотал Деев свое заклинание. – Каша будет скоро, скоро будет каша...

Когда все лежащие уже покоились в лазарете, Деев без стука толкнул дверь полевой кухни и запрыгнул в сумрачное пространство ящиков, мешков и кастрюль.

Мемеля возился за разделочным столом – шинковал собранные на вокзальных задворках ежевичные листья, что годились для заваривания в чай или вместо чая.

– Кашу на обед сваришь, – приказал Деев. – Сейчас не начинай. Воды! вскипяти и жди, иначе на запах пол-Казани соберется, выехать не дадут. А как тронемся, сразу же крупу в тот кипяток бросай. И вари мне, товарищ Мемеля, такую кашу... такую кашу... такую, чтобы...

Деев не нашел подходящих слов и только потряс перед поваренком накрепко сжатым кулаком: жилы на кулаке вздулись, а костяшки побелели.

– Вот какую!

* * *

Спрыгнув из полевой кухни на землю, Деев обнаружил, что половина ребятни рассажена по местам. Фельдшер Буг безостановочно заглядывал в отверстые зевы, сестры сновали вдоль эшелона, как ткацкие челноки, – неповоротливая и крикливая детская масса рассасывалась по вагонам.

Уже стоя на вагонных ступенях, дети сбрасывали сапоги (их собирали в большую кучу и время от времени отгаскивали на привокзальную площадь, в ожидающую телегу) и одежное имущество эвакоприемника: покрывала из гобеленов, шали из скатертей, одеяла из штормаскарадных камзолы и треуголки – все это было казенное и выбывающим не полагалось. В ведение Деева дети поступали босыми и почти раздетыми.

А народа у поезда не стало меньше: напозли со всех сторон беспризорники, набежали взрослые – и горожане, и деревенские. Надеялись, что разгружают провизию (и можно пожитья укатившимся яблоком или оброненной галетой); или что загружают уголь (и можно

отгрести себе хоть горстку); кто просился в попутчики (хоть на тормозной платформе до Сергача дотряхать); кто норовил пристроить ребенка в эшелон. Все толпились у вагонов – тянули шеи и возбужденно галдели. Тут же теснились и конные – имели приказ наблюдать до возврата последней пары сапог.

Из депо уже давно подкатили паровоз – он пыхтел и дымил отчаянно, то и дело погружая происходящее в серые и белые клубы: облака плыли по узкому проходу меж вагонов, иногда с головой накрывая людей и оставляя видными только плечи кавалеристов и лошадиные морды.

Из такого вот облака и нарисовался скоро всадник – не в простой буденовке и серой шинельке, как отряд сопровождения, а в каракулевой папахе и щегольском черном кителе. Командир академии, лично.

Деев, как увидел, аж дышать перестал. Поднял глаза к небу: солнце – в зените.

Нагнулся, будто шнурок на ботинке поправить, и тотчас – нырком, ползком – под вагонную сцепку, на тыльную сторону: пока паровая дымка в воздухе растворялась – растворился и он.

Командир его не видел – ехал медленно вдоль эшелона, разглядывая суету у вагонов. Ни с кем пока не заговаривал, но по всему ясно: кого-то искал. Не кого-то – Деева.

А Деев разглядывал командира, вернее, ноги его коня: присев на корточки, полз гуськом вдоль задней стороны состава, наблюдая из-под колес неспешный перебор конских копыт и не понимая, как же ему быть и что делать.

В прятки играть? Глупо и безответственно. Да и сколько можно вокруг поезда хорошевать?.. Выйти и показаться? Отнимет начальство задержанные сапоги как пить дать – и останется половина ребятни босая у эшелона...

Так и следовали Деев с начальством вдоль состава – он с одной стороны, оно с другой: мимо тендера с углем и крошечного вагона-кухни; мимо длинного штабного вагона с еще заметными отметинами первого класса; мимо пяти пассажирских вагончиков и одной церкви (она же лазарет). Здесь эшелон заканчивался, а Деев так ничего путного и не придумал. И тут конские ноги встали.

Стояли минуту, затем вторую – послушно стояли, едва перебирая копытами: возможно, всадник разговаривал с кем-то, сидя в седле. Или задумался, куда направиться дальше. Или...

– Вот вы где, – послышался негромкий голос сверху, где-то совсем рядом.

Деев поднял глаза: на открытой вагонной площадке стоял и внимательно смотрел на него командир академии.

– Здравствуйтесь, товарищ, – глупо сказал Деев; он все еще сидел на корточках, меж навалов щебня и мусора, руками опираясь о землю, как мартышка в зоосаде.

Поднялся, вытер грязь с ладоней. Поправил ремень, обстучал ногу о ногу, стряхивая с обуви пыль. Затем схватился за поручни и запрыгнул на площадку – к ожидающему гостю. Вытянулся смиренно и замер, готовый к упрекам или серьезному взысканию.

Стыдно было так, что горело не только лицо – и корни волос, и затылок, и даже взмокшая от напряжения деевская шея пылали нестерпимо. Больше всего хотелось зажмуриться, но не разрешил себе: уставился начальству в глаза, даже моргать перестал.

Лицо у командира было породистое и надменное. Усы – ровные, словно кистью наведенные, с подвитыми кончиками. А осанка – корсетная. Этот был – из *бывших*, из *благородий*. Этот – всегда держал слово.

– Товарищ комакадемии... – начал было Деев и умолк, не зная, как оправдаться.

А командир – не слушал.

– Это вам, – сказал сухо, доставая из кармана и протягивая небольшой тряпичный сверток. – Мне уже вряд ли потребуется. А вам в пути – наверное.

Деев развернул: в сложенном несколько раз носовом платке лежали два серебряных креста – два Георгия, третьей и четвертой степени.

– На лекарства или питание, – продолжил командир, глядя уже не на Деева, а куда-то вдаль, на ползущую к фельдшерскому столу толпу детей. И добавил после паузы, совсем тихо: – Постарайтесь не продешевить.

Деев только кивнул в ответ: все слова казались сейчас пустыми и лишними.

Командир постоял еще немного, помолчал. Затем щелкнул языком еле слышно – у вагонных ступеней мелькнул темный круп: конь пришел на зов хозяина. Тот вспрыгнул в седло – прямо с вагонной площадки, не коснувшись земли.

– Вот еще что, – обронил, будто между делом и только что вспомнив. – У вокзала стоит подвода с пятью сотнями исподних рубах. Это для ваших пассажиров. Распорядитесь разгрузить.

Пять сотен рубах – богатство невероятное, невысказанное. У Деева аж дух захватило.

– Да я сам перетаскаю! – закричал он; кричал, а улыбка ширилась на лице и мешала произносить слова. – Спасибо вам, товарищ комакадемии! Огромное пролетарское спасибо!

– Не мне! – ответил тот резко, уже готовясь натянуть поводья. – Солдаты сами решили. Я был против того, чтобы оставлять академию без белья.

Деев счастливо рассмеялся в ответ – как последний дурак. Смеялся не тому, что дети одеты будут (хотя и это было ох как хорошо!), а тому, что есть на земле братство – истинное братство незнакомых, но близких людей.

– Они нестираные, – предупредил всадник. – С себя снимали, только что.

Сжал ногами конские бока и тронулся прочь.

– А сапоги-то! – всполошился Деев запоздало. – Нам бы еще час-другой – и всё!

Но прямая командирская спина уже удалялась, покачиваясь...

Позже Деев таскал охапками рубахи – мятые, грязно-белые, залатанные и заплатаемые, чуд! ные совершенно рубахи, – и каждый раз, неся через пути новую охапку, опускал в нее улыбающееся лицо. Пахло махоркой, крепким мужским потом, водкой, хлебом, кислой капустой. И рыбой пахло, и дегтярным мылом, и керосином, и дымом.

А еще Дееву казалось, что рубахи были теплые. Нет, не казалось: они и правда – грели.

* * *

В два пополудни медицинский осмотр и рассадка по местам были окончены. Возбужденные мордочки отъезжающих гроздьями светлели в окнах вагонов, унылые физиономии не допущенных к поездке – этих было с дюжину – маячили тут же: дети ждали Шапиро, которая все бегала по составу и твердила напутствия сестрам и бывшим подопечным. И кавалеристы ждали Шапиро – чтобы проводить оставшихся до привокзальной площади, посадить на телеги и только после забрать обувь.

И собравшиеся посторонние чего-то ждали – не расходились, а толпились все гуще. Беспорядочники сновали по обеим сторонам поезда, то и дело пытаясь проскользнуть внутрь; машинист уже спровадил двоих из тендера – те закопались в уголь и затаились до отправления, – а другую парочку Белая скovyрнула из-под штабного вагона. Тех же, кого шуганул Деев, – из тамбуров, с крыш и тормозных площадок – было без счета.

Мамаши с младенцами кружили тут же, выискивая сестер с лицами подобнее, и совали тем детей:

– Возьми ребеночка! Мой – легкий, а ест и вовсе чуть!

– Моего возьми! Он тихий!

– Моего! Моего!..

Мужики топтались у состава, наблюдая и рассуждая.

– За деньги детей-то спасают? Или даром?

– Так даром разве что делается?..

- Куда везут-то? В Китай, к окяну с рыбой?
- В Америку, говорят! Там тоже окян имеется...
- Детей начали увозить. Может, война?
- Да хоть бы и она! В войну хоть не голодали.
- Даешь войну, граждане!

Гомон стоял – как перед отправкой Первого московского с главного перрона.

– У-у-у-у-у! – басил паровоз, пробуя голос и перекрывая все прочие – от гудка закладывало уши.

Деев сновал по вагонам и раздавал рубахи. Решил одеть всех своих сейчас же, не дожидаясь отъезда: паровое отопление работало, но кочегарило едва-едва – без одежды и одеял дети мерзли. К тому же экипированных в белое пассажиров можно было без труда отличить от зайцев-беспризорников, так и норотивших затесаться в какое-нибудь купе.

Два десятка рубах – самым маленьким пассажирам и калекам – в штабной вагон, где командовала Фатима. Почти по сотне – в каждый из плацкартных. Оставшиеся – пара дюжин – в лазарет, лежачим.

Туда Деев пошел уже под конец раздачи. Зайти внутрь не успел – на вагонных ступенях его встретил фельдшер Буг с застывшим лицом и сурово поджатыми губами.

– Это как же понимать? – спрашивает.

А у самого ноздри ходуном ходят, как у испуганного коня.

– Как хочешь, так и понимай! – насупился Деев.

– Нет! – Буг стоял на ступенях – огромный, широкий, полностью загораживая проход и нависая над мелкорослым Деевым как туча. – Нет! Лежачих брать нельзя.

– А не бери! – огрызнулся Деев.

До отправления оставались малые минуты: посадить пассажиров – не успеть. Да и куда их посадишь? Не на землю же класть, под ноги толпящимся зевакам?

Ткнул стопу рубах фельдшеру в живот – держи, мол! – а тот будто не замечает.

– Я за полвека мертвых перевидал, как ты – живых, – говорит. – И вижу, ясно вижу: эти – не жильцы.

– Ты только скажи, что нужно! – Деев снова тычет рубахами в плотное фельдшерово пузо, и снова без результата. – Лекарства какие, молоко, яйца, рыбий жир... Мед, наконец! А я буду искать. И найду! Это я когда для себя – тряпка. А когда для других – зверь!

Молчит фельдшер, только пыхтит в ответ.

– У меня и деньги есть! – вспоминает Деев про спрятанные в карман серебряные кресты.

И опять фельдшеру в живот рубахами – тык! Да разве такую гору перешибешь...

– Однажды они просто перестанут просыпаться, – севшим голосом произнес Бук. – Не будет ни криков, ни корч, ни заметных глазу страданий. Все случится тихо и незаметно. Сначала не проснется один, затем второй, третий... Первые – еще до Арзамаса. Кто-то – у Самары или Оренбурга. До Самарканда не доедет никто.

Деев смотрит на посеревшее от усталости лицо фельдшера, на резко обозначившиеся морщины – и впервые верит, что тот перешагнул за семьдесят.

– Мы будем хоронить их у железной дороги, – продолжает Буг тихо. Опять гудит паровоз, заглушая всё и вся, но Деев слышит каждое слово ясно, будто звучащее внутри головы. – Прикапывать землей, чтобы собаки не поели, – по ночам, прячась от остальных детей. Ты будешь рыть могилы, а я – подносить умерших.

Гудок ревет – бьет по ушам.

– Ты обязан их спасти, – говорит Деев, не дожидаясь, пока паровоз умолкнет, уверенный, что Буг поймет. – Это приказ.

Кладет стопку рубах фельдшеру под ноги – прямо на ступени кладет, пыль и грязь, – и идет вон.

* * *

А паровоз басил – как с ума сошел. Из трубы рвался к небу плотный столб дыма впере-
мешку с искрами, по бокам шипели и расплзались белые облака.

Матери прижимали к себе младенцев, но те пугались механического рева – рыдали. Неко-
торые женщины все еще норовили сунуть орущее дитя кому-нибудь в поезде – стоящие на
вагонных площадках сестры только кричали строго и махали руками. Им свистели в ответ
беспризорники – рассерженные, что не удалось прибиться к эшелону. Встревоженные шумом
кавалерийские лошади вставали на дыбы и тоскливо ржали.

Деев проталкивался через весь этот гомон, крик, плач и гул в начало состава, к штабному
вагону, где уже мелькала яркая фуражка начальника станции, – тот готовился дать сигнал к
отбытию.

– Сынок! – ухватил его кто-то за рукав. – Спаси!

Женщина – с изможденным лицом старухи. У груди – завернутое в алую пеленку дитя.
Вцепилась намертво в деевский локоть и тянет к нему младенца:

– Возьми ребеночка, сынок! Помрет же! Хоть куда возьми – хоть в Китай, хоть в Америку
эту треклятую! Спаси!

Деев попытался высвободиться из цепких женских пальцев, но они – как железные, дер-
жат капканом.

– Ах-х-х-х-х! – зашипело по перрону новое облако, укутывая Деева и женщину.

Состав дрогнул едва заметно, от начала и до конца его пробежало громкое лязганье:
паровоз натянул сцепки.

– Тронулись! – заорали тут же впереди. – Пошли! Пошли-и-и-и-и!

Деев никак не мог сбросить с себя чужую пятерню. Со всех сторон его толкали чьи-то
твердые плечи и спины, и он их толкал, пробиваясь вперед. А на локте – словно гиря трехпу-
довая – женщина: все ближе, ближе, уже совсем рядом, дышит в щеку горячим и нестерпимо
горьким своим дыханием, вжимает в Деева младенческое тельце, вот-вот повиснет на его шее
и уронит под ноги толпе.

– Да помоги же, товарищ! – закричал Деев в сердцах одному из кавалеристов, что ока-
зался рядом. – Не видишь? Черт знает что творится!

А тот – осёл на коне! – вместо того, чтобы цапнуть настырную бабу за загривок и позво-
лить Дееву уйти, выхватил пашку.

Сталь свистнула в воздухе – женщина прынула назад.

– Сдурел ты, что ли?! – Деев схватил коня под уздцы, и кавалерист застыл, с поднятой
к небу пашкой, не зная, как быть дальше.

Но колеса уже стукнули по рельсам, и Деев только отмахнул рукой досадливо и побежал
к штабному вагону.

– Возьми ребеночка, сынок! – надрывалась позади отставшая женщина. – Возьми!
Возьми! Возьми!..

Он бежал мимо волнующейся толпы – мимо раскрытых ртов и поднятых рук – под
нескончаемый громозвучный рев. И неясно было, басит ли это паровоз или глотки всех этих
людей исторгают единый, заглушающий все вопль.

Рука протянулась из штабного – длинная и сильная рука. Деев ухватился, и рука вздер-
нула его, подтащила к вагонным ступеням. Прыг! – и вот он уже стоит на площадке рядом с
Белой, а ладони их скрещены накрепко, словно в рукопожатии.

– Знаете, сколько в эшелоне детей? – спрашивает она, прижимая губы к самому его уху,
чтобы перекрыть стоящий вокруг шум. – Пять сотен – ни единым больше или меньше! Иной
раз и захочешь – не подгадаешь, а тут...

И улыбается ему – впервые со дня знакомства. А он – не может улыбнуться в ответ. И хотел бы, да не улыбается!

Дрожит под ногами махина вагона. Лязгают рельсы. Здание вокзала, деревья, эшелоны – все плывет медленно и утекает назад. Густые облака пара летят по-над землей, все плотнее закрывая от Деева остающуюся на перроне толпу.

И вдруг из белой ваты этой возникает фигура: кто-то бежит за паровозом – стремглав бежит, изо всех сил. Баба! Бьется на ходу длинная юбка, задираясь выше колен и обнажая тощие ноги в громадных башмаках. Летит по ветру седая наполовину коса. А на руках у бабы – младенец в алом.

Поезд набирает ход – с каждой секундой все быстрее. И баба бежит – все быстрее. На бегу протягивает к поезду руки с ребенком. Не кому-то протягивает – Дееву.

На него она смотрит, за ним бежит. Деев стоит, вцепившись в поручень, не в силах отвести взгляд от женщины. Она бежит отчаянно, как раненое животное, словно рвется от наступающей смерти. Лицо – изношенное и бледное – так искажено, что кажется: еще миг – и у бабы разорвется сердце.

Быстрее, еще быстрее, и еще быстрее – и вот уже лицо ее рядом с вагонной площадкой, чуть не в ногах у Деева. Глаза – вытаращены дико. Рот – раскрыт. Тянет к нему младенца – на прямых и костлявых руках: забери же ребеночка!

Деев сцепил зубы, сжал обеими ладонями поручень – того и гляди переломит! – и трясет мелко головой: нет, не могу, прости, прости!

А она тут возьми и положи дитя на вагонную ступень.

Алый сверток – под ногами у Деева, на трясущейся металлической решетке, под которой бежит-мелькает земля. Деев и не понял ничего – рука сама этот сверток схватила. Глядь – он уже висит на поручне одной рукой, другой прижимает к себе младенца.

А баба? Нет ее, пропала. То ли заметил Деев краем глаза, как она кувыркнулась и полетела под откос, то ли почудилось. Но женщины больше не было видно – нигде. Да и ничего уже не было видно – все укутывал белый, косматым крылом волокущийся за эшелонном пар.

Деев распахивает пеленку. Внутри корчится от еле слышного плача крошечное дитя – красное и морщинистое: новорожденный.

Хлопает вагонная дверь – это Белая, ничего не говоря, уходит внутрь.

Младенец на руках у Деева щурится слепыми еще глазами и вертит башкой. Тянет во все стороны раскрытые губешки – ищет материнскую грудь.

II. Вдвоем Свияжск – Урмары

Деев был простой человек и любил простые вещи. Он любил, когда говорили правду. Когда вставало солнце. Когда незнакомый ребенок улыбался сытой и беззаботной улыбкой. Когда женщины пели и когда мужчины. Любил стариков и детей – любил людей. Любил ощущать себя частью громады – армии, страны, да и всего человечества. Любил класть ладони на паровозный бок и кожей слушать работу механического сердца.

А не любил – раны и кровь. Не любил, когда убивают, своих ли, чужих, все одно. Не любил голодать и смотреть, как голодают другие. И слово “суррогат”. Опухших и лежачих. Скотомогильники и кладбища.

Иными словами, Деев любил жизнь и не любил смерть.

Но так уж вышло, что все отпущенные ему годы он барахтался в этой смерти, как муха в молоке, не умея выбраться; и все товарищи его барахтались, и вся молодая Советская страна. В детстве, приемышем паровозного депо, – выживал едва-едва, ночуя на шпальном складе и по утрам отдирая от шпал примерзшие к дереву волосы. В отрочестве, подмастерьем ремонтной артели, – колготился за тарелку супа, то бодрясь, то падая в голодные обмороки. В юности, уже солдатом Красной армии, – убивал, и много. В молодости, продармейцем, – опять убивал.

В последнее время на просторах родины смерти было так много, будто она и была в стране хозяйка, а вовсе не советская власть. Смерть принимала разные обличья: эпидемии, голод, лютые зимы, лютая бедность, лютый бандитизм. Лютовало оттесняемое на задворки республики белое воинство, пока не было уничтожено. Лютовала своя, Красная армия. Лютовали крестьяне-бунтовщики, не желая сдавать зерно государству. Лютовали продотряды, забирая в деревнях “кровь вместо хлеба”. Свиристествовали болезни: тиф сожрал три миллиона граждан, “испанка” – еще три. Свиристествовал голод: тридцать пять губерний – девяносто миллионов человек – который год стонали непрерывно “хлеба!”. И пусть газеты уже докладывали робко, что голод побежден, в Поволжье знали – еще нет; и на Украине знали, и на Урале, и в Крыму.

Отчего так выходило, Деев не понимал. Отчего смерти и боли всегда было вдосталь, а жизни – чуть?

Стараясь разобраться, он воображал огромные весы – наподобие тех, что стоят в портах для взвешивания грузов, – и мысленно раскладывал по гигантским чашам свои воспоминания: на одну – о печальном и болезненном, на другую – о светлом.

Первая чаша заполнялась мгновенно. Вот он сам, юный и испуганный, всю ночь таскает убитых однополчан и складывает в кучу; затем стягивает с них амуницию, сапоги и даже исподнее (обувь и одежда в армии – на вес золота!); в одиночку роет яму и сваливает туда голые тела, переживая об одном: холодно же, замерзнут в земле. А рассветное солнце красит окопанные трупы желтым и розовым, пытаясь оживить... Вот полыхает облитый керосином хлеб на ссыпном пункте: не пуд и не два, а многие пуды золотых некогда зерен обугливаются вмиг – исчезают в пламени и устремляются к небу столбами черного дыма... Вот военные катера утюжат Волгу и плавающих в ней солдат, мозги и кровь мешаются с волнами, и вода рдеет ярко, и багрянеет прибой...

Вторая чаша весов также наполнилась, но медленно и скудно. Улыбки, ласковые слова, красота речного заката – разве могло это перевесить пожар из хлеба или рев катеров, рассекающих человеческую плоть? Чаша добра и радости всегда оказывалась неизмеримо легче.

Да и леший бы с ней, с радостью. Ведь люди созданы не для радости или удовольствия. Но и – не для смерти. Люди созданы просто для жизни. Человек рождается потеть от работы, хрустеть яблоками, ходить босиком по траве, браниться, мириться, любить кого-то и кому-то

помогать, строить, чинить – вот для чего. Не лежать голышом в братской могиле с дыркой в черепе. Не крошиться на сто кусков под винтами военного катера. Человек рождается – быть.

Откуда взялась в Дееве эта упрямая вера – не знал. Но она была главное, что имел. И пусть не понимал он многих вещей, пусть многого боялся и характер имел слабый, пусть воображаемые весы ходили ходуном и никогда не достигали равновесия, но этой веры было не отнять. Ею и спасался.

Оттого и работу свою нынешнюю любил страстно. По бумагам числился в транспортном отделе, экспедировал составы и грузы; на самом деле – сражался с голодом. Впервые сражался, не убивая. Вовсе не зерно доставлял он в голодные губернии, не масло и не скот, а – жизнь. Не врачебные экспедиции сопровождал в глубинки, а – саму жизнь. И теперь, сидя в штабном купе санитарного эшелона, Деев перемещал пять сотен пассажиров не из одной точки маршрута в другую – он увозил детей от вероятной смерти туда, где, возможно, ждала их жизнь.

* * *

Деев никому не сказал, что провизии в эшелоне – на три дня пути. При скудном пайке – на четыре. При нищенском – на пять.

А кому скажешь? Белая, узнай об этом, ссадила бы всех калек-лежачих на казанский перрон и глазом не моргнув. Фельдшер того и гляди сам бы на вокзале остался. Не было у Деева в пути товарищей – одни противники. Словно не одно дело делали, а воевали друг с другом.

Вот и уезжал из Казани – как в пропасть прыгал. На шее – пять сотен детей: четыре сотни мальчиков и одна – девочек; из них два десятка малышей-малолеток и столько же лежачих; инвалидов и опухших – еще две дюжины. Да сосунок пары дней от роду (в складки алой пеленки Деев не заглядывал – было ли дитя мужского или женского пола, не знал). Либо исхитрится Деев их прокормить – либо нет. Либо приземлится на дне пропасти, цел и невредим, с невредимым же грузом на шее, – либо нет.

Везти этот груз – сперва на запад, по приволжским лесам, до Арзамаса. Затем на юг и восток, до Аральского моря. Потом опять на юг: через пустыни Кызыл-Кума и Голодную степь, до самого Ташкента. Оттуда обратно на запад – мимо хребтов Чимгана и Зерафшана, до Самарканда.

Две недели. Четыре тысячи верст.

Все было у Деева: и эшелон, и тендер с углем, и даже собственный лазарет. И мандат с печатями был, и револьвер в кармане. Еды только – не было.

Не добудет ее Деев – и дети умрут. Поголодать можно пару дней, но пару недель без пищи здоровым ребятам не выдержать, больным и лежачим – тем более. А если заминка в пути – поломка паровоза или иное происшествие? Две недели легко обернутся тремя...

А ведь выйдет – Деев сам виноват, кругом, во всем. Что взял инвалидов на место здоровых детей. Что отправился в дорогу без должного питательного фонда. И даже в том, что младенца в красной пеленке с собой прихватил. Неужели же надо было оставить умирать на оркестровом балконе Сеню, Пчелку, Долгоносика, Утюжка? Или задержать отправку поезда в ожидании продуктов – на день, два, неделю, месяц? Или сбросить с вагонной ступени на землю сосунка... Но – кому объяснишь? Перед кем оправдаешься? Никому. Ни перед кем.

Кто-то должен был вывезти детей из голодного города. Взять на себя – на шею себе повесить, на совесть свою положить эти пять сотен детских душ – на все время пути. Деев и взял. И только теперь, сидя в штабном купе санитарного эшелона, осознал, как сильно боится – до ломоты в скулах. И выбора у него теперь нет. Он должен прокормить этих детей – ужом извиться, расшибиться в слякоть, а прокормить.

* * *

Не купе, а будуар в доме терпимости! На стенах – цветы. На обивке диванной – опять цветы. На потолке и то целая лужайка распустилась. Канделябры из стен узорчатые. Столик для письма лаковый. Занавески бархатные, в густой бахrome из шелка. А у столика – пуф-табурет на львиных ножках с цветочной, конечно же, обойкой, прикручен к полу накрепко – не отодрать.

До отправления изучать обстановку было недосуг: закинули Деев с Белой вещи – он в одно купе, она в соседнее – и разбежались по делам. Сейчас же он смотрел на все эти лепестки-бутоны и чуть не задыхался от их обилия и кучерявости. Открыл спрятанную под столом створку – в нише сверкнуло что-то светлое, изящное. Ваза? Ночной горшок. Этот не в цветах – в райских птицах. Хлопнул Деев с досады дверцей, а делать нечего: вот оно, обиталище на полмесяца пути.

Два штабных купе – одно для начальника эшелона, второе для комиссара – остались нетронуты плотниками во время переделки. Когда-то это были семейные апартаменты: каждое помещение имело выход в коридор, между собой же они соединялись деревянной дверцей-гармошкой. От мысли о бывшем предназначении этой дверцы у Деева теплели щеки. Пожалуй, не станет он ею пользоваться, а ходить к Белой будет через коридор, как все остальные, – если вообще будет. Лучше пусть она сама к нему ходит: все же Деев – начальник эшелона. И стучит перед этим пусть – негромко, уважительно, – как и полагается при входе в начальственный кабинет...

Подпрыгнул пару раз на пружинном сиденье, проверяя упругость дивана. Отер ладонью запотевшее окно: за стеклом плыли паровозные облака, сквозь них мелькала потемневшая от дождей сосновая зелень. Провел рукою по скользкой на ощупь ткани обоев. И сам не заметил, как оказался у гармошки.

За створками – тишина. Где-то в коридоре сквозь грохот колес и лязганье металла слышно младенческое тьяканье (сразу после отбытия Деев отдал кукушонка Фатиме, чтобы укачала и успокоила). И поскрипывание вагона слышно, и чуханье паровика далеко впереди. А комиссара – не слышно. Обдумывает, как избавиться от мягкосердечного командира? Уже строчит жалобу?

Щелк! Створки сложились резко и отъехали в сторону, едва не ударив Деева по приложенному к дверце уху. В проеме – Белая.

– Давайте договариваться, Деев, как нам дальше жить, – говорит. – Вместе жить. Ехать не близко, пару недель в пути промаемся. Без договора – никак.

Сконфуженный, он попятился в сторону, и комиссар без колебаний шагнула внутрь, как к себе домой.

– Вы человек мягкий, даже трепетный. – Она решительно заняла середину дивана, откинулась на спинку и по-хозяйски закинула ногу на ногу. – Вам к детям нельзя.

Не желая ютиться на диванном уголке или стоять перед комиссаром, как провинившийся ученик перед учителем, Деев потоптался немного на месте, а затем опустился на пуф у приоконного столика. Пуф был низкий, пружины под обивкой ходили ходуном – того и гляди сбросят: ноги пришлось расставить шире, а руками упереться в колени, да так и сидеть раскорякой перед удобно расположившейся Белой.

Та оглядывала усыпанные растительностью потолок и стены – без любопытства, но с равнодушным удивлением, словно впервые наблюдая подобное дурновкусие. Щелкнула пальцем по качающейся мерно занавесочной бахrome, дернула чуть презрительно густыми и длинными своими бровями. Неужели же у нее в купе по-другому?

– Зато ты у нас железная. – Деев ерзал на табурете, стараясь найти удобное положение.

– И потому беру детей на себя. Ссоры, неурядицы, жалобы, шалости – всю эту суету предоставьте мне. В это не лезьте. Остальное ваше: везите нас, кормите, лечите... – Продолжая изучать интерьер, Белая распахнула бесцеремонно дверку под столом – ярко вспыхнули райские птицы на белом фаянсовом боку. – ...командуйте, наконец! Уговор?

Эх, не догадался Деев ночной горшок сразу детям отнести!

– Я думал, ты только шашкой махать умеешь. – Приспособившись кое-как к подвижности пружинного сиденья, он выпрямил спину и постарался вернуть лицу значительное выражение. – А ты вон дипломатию развела... Почему ко мне переменялась?

– Вы – человек искренний и горячий, – ответила просто, без промедления.

Признание это прозвучало из уст комиссара столь неожиданно, что Деев опять едва не потерял равновесие.

– Это лучше, чем лицемер или хапуга. К тому же вы не самый большой дурак из тех, кого я видела. А видела я дураков – достаточно.

Губы Деева, начав складываться в смущенную улыбку, застыли – вышла не улыбка, а кривая мина.

– С теми же сапогами – хорошо придумали...

Дождлся похвалы? Хотел было вспомнить в ответ, как умело Белая поутру рассадила детвору по вагонам, – да не успел.

– ...Словом, умишко у вас небольшой, но шустрый, – подытожила комиссар. – Вы мне подходите. Притресься.

Вот так разговор! Не то доброе сказала, не то обругала – поди разбери. В точности как Деев на своем дурацком пуфе корячится – не то сидит, не то падает, не то муку мученическую терпит.

– Что-то я никак в толк не возьму, – мотнул головой, – хвалишь ты меня или как?

– А вам непременно надо, чтобы хвалили?

– Мне надо, чтобы ты со мной обращалась по-человечески! – не вытерпел Деев и вскочил с пыточного табурета. – У тебя же изо рта не слова идут – чистый яд. Я – начальник эшелона. Вот и говори со мной как с начальником.

Глупо вскочил – запетушился, как подросток. Но садиться обратно на пуф мбчи не было. И потому остался стоять перед сидящей Белой: оперся рукой о стол для солидности, плечи круче развернул.

– И уговор у нас с тобой будет другой, – заявил. – С детьми ты управляешься ловко, признаю. И управляйся дальше, и командуй ими сколько угодно – только на моих глазах. Все будем делать вместе: и кашу раздавать, и ссоры разнимать. Куда ты – туда и я! Вдвоем! – Хлоп ладонью по столу – как припечатал – для большего веса. – Вот так.

В купе было тесно, и стоящий Деев нависал над Белой, едва не касаясь коленями ее скрещенных ног. Вагон раскачивался на ходу, и деевское тело покачивалось вместе с ним – то чуть приближаясь к женщине на диване, то удаляясь. Ее, однако, такая геометрия разговора не смущала – смотрела на него хоть и снизу, а с прежним высокомерием:

– Хотите всех в кулаке держать? Все знать – про каждого ребенка, каждую сестру и самую распоследнюю вошь в поезде? Для этого у вас не хватит времени. – Говорила спокойно и с прохладцей – просто рассуждала, перебирая варианты и не считая нужным скрывать течение мыслей от собеседника. – Или хотите подловить меня на чем-то и пожаловаться – убрать с рейса? Для этого у вас не хватит ума... Или хотите приударить за мной, Деев? А для этого не хватит характера.

Деев старался сохранять невозмутимость, но чувствовал, что лицо предательски меняется с каждой новой фразой. Отвернуться же и показать свою слабость было нельзя – так и стоял перед женщиной, весь напоказ, как актеришка на сцене.

Не угадала комиссар. Не шашни крутить и не мстить хотел Деев, и не власть свою командирскую над всеми показать, а – научиться: разговаривать с нахалятами, как Белая, укрощать их и управлять ими, шмонать, шутить – всему хотел научиться. И поскорее. Потому что тайна его неминуемо откроется: Белая узнает, что эшелон вышел в дорогу с запасом провизии на три жалких дня. Тогда-то и начнется настоящая борьба: или сама комиссар с маршрута соскочит, или Деева спихнет. Как бы то ни было, долго в одном эшелоне им не ехать.

– Я согласна. – Белая рывком поднялась, чуть не упершись грудью в выкаченную грудь собеседника, и протянула руку для пожатия. – Делаем все вдвоем. Вы командуете эшелон, я – детьми.

Он вложил свою ладонь в горячую комиссарскую. Хватка у Белой была крепкая, мужская. А кожа – мягкая, как у ребенка.

– И вот вам первая моя команда. – Она сжимала его руку все сильнее и сильнее, будто хотела расплющить де-евские пальцы или оторвать. – Больше никого в поезд не подсаживаем – никаких младенцев, лежачих и иже с ними. Посадка закрыта – до Самарканда.

Деев смотрел ей в глаза, не морщась и никак иначе не выдавая своей боли. И даже встряхивать побелевшими пальцами не стал, когда комиссар наконец отпустила руку. Усмехнулся только:

– Правильно тебя утром пацан одноухий мужиком назвал.

А она усмехнулась в ответ:

– Так нам в эшелоне без мужиков-то никак нельзя...

И добавила после паузы, почти ласково:

– ...товарищ начальник.

* * *

На первый обход отправились тотчас – не дожидаясь, пока сварится каша и займет все мысли ребятни.

Белая шагала впереди, Деев едва поспевал следом; заходили в вагон стремительно, ни слова не говоря суетящимся сестрам, и пробирались сквозь ребячьи крики и толкотню в середину – останавливались там, в проходе, чтобы видно их было со всех сторон. Ждали. Через минуту гомон стихал, сотня детских мордочек оборачивалась к пришедшим: малышня стягивалась к начальству и толпилась рядом, ребята постарше рассаживались по ближним лавкам или свешивались с третьего яруса, из-под самого потолка.

Как так получалось, Деев понять не мог, но одним только своим присутствием – резкостью движений, высотой роста, строгостью черт – Белая притягивала к себе взгляды детворы. А кто кочевряжился и нарочно отворачивался к окну, не желая смотреть на вошедшего комиссара, тому никуда не деться было от ее голоса: говорила она громко и внятно, перекрывая гроханье колес, – будто вколачивала фразы в детские головы.

– Вы едете в санитарном поезде Советской Республики, – гремело по вагону. – Едете в теплый и хлебный Туркестан. Не потому, что вы такие хорошие. А потому, что советская власть заботится обо всех своих детях, даже самых конченных и пропащих.

Лица пассажиров светлели в полумраке неосвещенного пространства, словно подсвеченные белыми рубахами, глаза тревожно лупились на обходчиков, лбы сминались смятенными складками.

– Остаются в этом эшелоне только те, кто соблюдает правила. Правил этих ровно пять. Я произнесу их сейчас единственный раз. Слушайте и запоминайте. Повторять не буду. А ссаживать за нарушение – буду. И буду безжалостно.

В перерывах комиссарской речи слышно было лишь громоухание состава – да-да! да-да!.. да-да! да-да!.. – как одобрителное поддакивание.

– Правило первое. – Здесь Белая обычно брала паузу, и Дееву казалось, что в это мгновение слушатели переставали даже дышать, боясь пропустить хоть слово. – Правило дома. Эшелон – ваш дом. Дома не воруют, не срут под лавку, не бьют окна и не мажут углем потолок. Не ломают мебель, не крушат стены, не жгут двери. В доме поддерживают чистоту и уют, наводят красоту и сберегают тепло. Это ясно?

Хорошее правило, соглашался про себя Деев. Плацкартные лавки – крепкие, хоть мужиков здоровенных вези (а что соломы для мягкости не успели постелить, то не беда, на жесткой постели сон слаще). Отхожие места – просторные, стенкой отгороженные, с большой дырой в полу: не промахнешься. Окна – законопачены наглухо. И даже чудо инженерной мысли – батарея – теплятся вдоль стенок, не давая вагону остыть. Чем не дом?

– Правило второе – правило брата. Все, кто едет с вами в эшелоне, на время пути – ваши братья. Родные братья! Братьям не гадят и не пакостят – не сыплют стекло в постель, не подкладывают иглы в обувь, не поджигают матрасы во время сна. Над братьями не измываются – не заставляют их пить грязь или мочу, лизать чужие ноги. Не устраивают им *ноченьку* и *верти-вола*. Да, с братьями спорят и дерутся, но не до крови. Да, с братьями играют в карты, но не на еду. Братьям не ссужают деньги и хлеб. Братьям помогают – во всем. О братьях заботятся, их опекают и оберегают. Их любят, как самих себя. Ясно это?

Никто не отзывался и даже не кивал, но в сосредоточенных взглядах и застывших от напряжения лицах читалось: ясно, и еще как.

И Дееву казалось: в одинаковом исподнем – кому доходило до колен, а кому чуть не до пят – пацанята и правда похожи на разновозрастных братьев. Просторные рубахи скрывали мальчишечьи тела, кривизну ног, их костлявость или болезненную опухлость, синяки и шрамы, отметины болезней. А торчащие из воротов шеи у всех были – тощи. Сидящие на этих шеях головы – у всех бриты наголо.

– Третье правило, самое короткое. Правило сестры: кто обидит сестру – хоть мизинцем, хоть словечком, – вылетит вон.

Ребятчи взоры обращались на социальных сестер, которые, как и дети, изумленно внимали комиссару. Смущенные всеобщим вниманием, те суровели и вздергивали подбородки. А Белая не торопилась продолжать – выжидала, пока ребятня наглядится на женщин и обдумает хорошенько все сказанное.

Каждый вагон опекали две сестры, и только в штабном, с малолетками, хозяйничала одна Фатима. Пары подобрались забавные: библиотекарша и крестьянка, портниха и попадья. Распределялись не на авось, а с умом: чтобы было у напарниц хотя бы два языка на двоих – русский с татарским, русский с башкирским, чувашским. Теперь же Деев смотрел на сестер и хмурился от сомнений: им бы между собой договориться суметь, не то что с детьми...

– Следующее правило – правило начальника эшелона...

Пять раз слышал Деев за сегодня эту фразу – во всех пассажирских вагонах, – и каждый раз в этот самый миг у него пересыхало горло: сотня детских взглядов одновременно вонзалась в него – с волнением и немым вопросом. К счастью, говорить не требовалось: вещал нынче только один человек – Белая.

– ... А правило такое: все приказы взрослых исполняются – тотчас и без болтовни. Скажет фельдшер пить микстуру – разеваете клювы и глотаете лекарство. Скажет сестра мыть отхожее место – хватаете тряпку и бежите драить говенную дырку. Скажет Деев ходить на карачках и лаять по-собачьи – встаете раком и начинаете тявкать. В ту же секунду! Только так.

Обращенные на Деева взоры ребят наполнялись укором, словно нелепое приказание уже было отдано. Тот же стоял истуканом, набычившись и закаменев скулами, едва в силах дожидаться следующего пункта.

– А теперь главное правило, последнее. – Здесь комиссар умолкала надолго и переводила пристальный взгляд с одной мордахи на другую, выискивая самые дерзкие глаза и возводя рас-

тушее напряжение в наивысшую степень. – Правило комиссара Белой: чем меньше в эшелоне народу, тем легче. У нас мало еды, мало угля, почти нет лекарств и одежды. И потому никого здесь не держу. Больше того, я очень хочу и жду, чтобы вы нарушали правила. Жду с нетерпением. – Найдя самые нахальные глазищи, она вперялась в них и более не отводила взор. – Нарушите правило, хотя бы одно, – и я ссажу вас. Не пристрою в приемник по пути и не передам Деткомиссии, а просто ссажу на первой же станции – голыми, без еды. Выданная в начале пути рубаха останется в эшелоне. Паек ваш не пропадет, остальным больше достанется. – Комиссар вновь оглядывала всех, словно собирая взгляды воедино, и обрывала речь. – Это всё.

И без промедления шагала дальше, в следующий вагон. Вслед неслись вопросы, но было их немного – ошарашенные пассажиры приходили в себя. Отвечала на ходу, едва поворачивая голову:

– Нет, бани в поезде не имеется. В море будем купаться, в Аральском, когда доберемся...

– Да, воды у нас вдосталь, пить можно от пуза...

– Нет, кашевару помощь не нужна. Кого застану в кухонном отсеке – посажу на голод...

Пока обходили пассажирские вагоны, поспел обед – и Мемеля засновал по составу, разнося ведра с дымящейся кашей. Каждому вагону – по два полных ведра да несколько грохочущих связок с оловянными кружками вместо тарелок.

Это было кстати: Деев с облегчением подумал, что на обход лазарета можно отправиться позже, чтобы не мешать пассажирам трапезничать. Предстоящую встречу с Бугом и неминуемо тяжелый разговор хотелось оттянуть – чем дальше от Казани, тем лучше.

Вид пшена и его весьма аппетитный запах (сумел-таки поваренок дельно заварить!) привел детей в состояние веселого буйства: улюлюкали, скакали по лавкам, отвешивали друг другу затрешины – но скоро безо всяких указаний выстроились в очередь и к месту раздачи подходили важные, строго по одному. Еду принимали из рук сестер с благоговением: сложенными в несколько раз подолами рубах обертывали горячие нестерпимо кружки, обнимали ладонями, прижимали к животам – и расползались по лавкам. Сидели там, скрестив по-турецки голые ноги и едва не сложившись пополам – словно укутывали всем телом свою кружку: сначала грелись о нее, обжигаясь и улыбаясь при этом, затем – по шепотке – отправляли пищу в рот.

Ешьте, думал Деев, ешьте досыта. Больше каши не будет. Похлебка будет, затируха будет и баланда из ботвы с крупую, а такой вот рассыпчатой каши, такого вот расточительства – нет...

Налюбоваться картиной не успел – из девчачьего вагона прибежала сестра, запыхавшаяся, с широкими от растерянности глазами:

– Товарищи, у нас бунт!

* * *

Деев с Белой влетели в бунтующий вагон – а там тихо, словно и нет никого. Гремят колеса, скрипят на ходу вагонные сцепки, и – ни вдоха, ни слова произнесенного. Будто и не сидит по лавкам – в три яруса, от пола и до потолка – сотня девчонок в солдатском исподнем на голое тело. Забились в углы, сжались в комочки, обхватив колени костлявыми руками. Зыркают на взрослых из-под насупленных бровок и – молчат. Рядом с каждой – кружка, полная густого, исходящего нежным паром пшена. Нетронутая.

Девочки отказались есть – все до единой.

– Товарищи дети, как это понимать?

Молчание в ответ.

– Вы чего-то боитесь? Кто-то обидел вас? – Белая пошла по отсекам, заглядывая на верхние полки и наклоняясь к нижним, чтобы поймать взгляды детей, – не удавалось: мордочки сминались испуганно, жмурились или утыкались в колени, не желая глядеть на комиссара. –

Это каприз или идейная забастовка? Вы чем-то возмущены или протестуете? Если протестуете – против чего?

Прошла вагон от одного конца до другого, так ни с кем и не встретившись глазами. Только сестры – обе крупные, крепкие, как великанши среди малышни, – тарасились на комиссара безотрывно и с надеждой.

– Кто зачинщик?

Сестры жмут плечами: нет таковых.

– Ну а кто здесь самый бойкий и прыткий?

Опять жмут плечами: не поняли пока что.

Деев рассматривал бастующих и не видел среди них ни бойких, ни прытких, ни даже мало-мальски веселых: девчурки – сплошь понурые и квелые, одна другой бледнее. Многие с тифозной стрижкой – коротенькой шкуркой вместо волос. У одной кожа оспой выедена, как дробью прострелена. У другой – круги под глазами, иссиня-лиловые. У третьей, показалось, улыбка. Пригляделся – заячья губа.

Присел на лавку – как раз возле той, чьи глаза будто чернилами обведенные, – а малютка от него шарахается, в стенку вжимается; ногой при этом неловко брыкнула – опрокинула свою кружку. Две горсти ярко-желтого пшена вывалились на лавку – как две горсти золота. Остро пахнуло горячим и вкусным, у Деева аж слюна прилила. Девчонка же – не шелохнется: пялится на рассыпанные крупяные комочки, а в каждом глазу набухает по огромной слезе.

А глаза-то вовсе не бунтарские – жалкие и голодные.

– Как зовут? – спросил тихо, чтобы не испугать.

И бровью не повела – будто не слышала.

– Зозуля, – ответила за девочку оказавшаяся рядом сестра. – То ли имя, то ли козья кличка, поди разбери. Фамилии в документах и вовсе не было... А за такую вот кучку пшена, – указала на рассыпанную кашу, – у нас в деревне еще год назад убили бы.

– Розданную еду не трогать, – громко скомандовала Белая. – Охранять до нашего возвращения. Если забредет пацанё из соседнего вагона – гнать взащей.

Кивнула строго одной из девочек: за мной! Кивнула и Дееву с Зозулей: вы тоже – за мной! И направилась в штабной вагон. Наедине хочет поговорить, догадался Деев, – допросить бунтовщиц по одной.

Зозуля как поняла, что ее уведут к начальству, и вовсе скукожилась, сморщилась личиком. Но сопротивляться не стала: молча вылезла из укрытия – рассыпанную по лавке кашу обползала аккуратно, не задев ни крупинки, – и почапала за комиссаром. Деев зашагал вслед.

Вагонные проходы были некогда выстланы коврами, от которых теперь остались одни ошметки. Остатки эти у Деева хватило ума не трогать: во время оснастки эшелона приказал аккуратно приколотить каждый гвоздями – и теперь босые дети скакали по этим ковровым островкам, чтобы не заморозить ноги о холодный пол. Зозуля не скакала – шлепала равнодушно по деревянному настилу, ссутулившись и уткнув подбородок в грудь. Просторная рубаха волоклась по полу. Кости хребта выпирали шишками – едва не дырявили кожу. Стриженная голова – черный ежик с лохматыми иглами – казалась непомерно большой для тощей шеи: того и гляди оборвется.

– Побеседуйте-ка с ней по душам, – шепнула Белая на ухо Дееву. – Искренно, как вы умеете.

– Я? – опешил тот.

А Белая уже скрылась у себя – с другой девчонкой.

Зозуля осталась в коридоре. Мелкая, она едва доходила ростом до дверной ручки, но по серьезности личика Деев дал бы ей лет восемь-девять. К тому же она сильно горбилась: распрями спину – сразу стала бы выше на полголовы.

Распахнул дверь, приглашая войти, – шмыгнула внутрь купе. Присела на краешек дивана, как птичка на жердочку, руки на колени пристроила, голову на грудь свесила и замерла. Лица не видать, а только макушку в торчащих вихрах да бурые от грязи ручки с короткими черными ногтями. На одной наколка: голубок.

И вновь стоял Деев в своем временном жилище, не зная, куда присесть. На диван опуститься не стал, чтобы не испугать гостью, и на пуф садиться тоже не захотел – так и остался стоять, прислонившись к ребру стола и скрестив на груди руки.

О чем беседовать с упорно молчащей девчушкой – не понимал. Ее бы сейчас укутать потеплее, накормить пожирнее и кипятком отпить, а не пытаться вопросами.

– Говорить-то умеешь?

Макушка колышется еле заметно: умею.

– А ну скажи что-нибудь.

Сквозь шум колес Деев едва различает короткий звук – не то вода плеснула, не то кошка мяукнула.

– Что? – наклоняется он ближе к лохмоту темечку. – А ну еще раз, громче!

Зозуля покорно повторяет – и Деев наконец разбирает два слова: “Не бей”.

И хотел бы выругаться – а нельзя! Хотел бы прикрикнуть – “Да кто ж тебя бьет, дурища?! Тебя же кашей-рассыпухой пичкают, за которую в деревнях убивают!” – а тоже нельзя. Стерпел, смолчал. По-другому решил начать.

– Давно скитаешься? – спрашивает; ответа не дожидается, сразу продолжает: – Можешь не говорить, сам вижу – давно. Все вижу. И пятки твои загрубелые – не первый год без башмаков шлэндаешь. И пальцы на ноге кривые – то ли копытом отдавили, то ли тележным колесом. Что тифом болела, вижу. Что с вокзальной шантрапой якшалась. Что анашу куришь и вино пьешь. И что голодная ты до обморока, тоже вижу. Ты же это пшено вареное глазами жрала, так хотелось проглотить. А не проглотила. Почему?

Сидит девчурка, будто закаменела. Или бормочет что-то под нос? Прислушался – а та опять за свое: “Только не бей”.

“А вот побью!” – немедля захотелось рявкнуть. Будешь дальше настырничать и в голодовку играть – сам побью, вот этими своими руками! И потрясти растопыренными ладонями перед нахохленной макушкой – для острастки. И тут же стыдно стало своей невоздержанности – так стыдно, что себя самого впору поколотить. Не на Зозулю злился. А на кого? На себя, что не умел с малолеткой справиться? Отвернулся к окну, вцепился в ребро стола. Молчи, приказал себе. Дознаватель из тебя никудышный.

На стекле дрожали брызги дождя, а за стеклом плыли, покачиваясь, черные деревья. Эшелон тащился медленно, давая в час не более десяти верст, и можно было разглядеть каждую просеку и каждый перелесок. Приказанский лес – прозрачный по осени, едва разбавленный желтизной берез и зеленью сосен, – тянулся и тянулся бесконечно. А над ним, чуть не касаясь древесных крон, тянулись белые облака – не то спустившиеся с небес, не то поднявшиеся из паровозного жерла.

Зозуля не издавала ни звука, и Дееву в какой-то миг показалось, что она исчезла – стекла! бесшумно на пол и просочилась в дверную щель. Повернулся проверить, на месте ли гостья, – и оторопел.

Девочка лежала на диване – голая. Неподвижное лицо ее было безучастно и глядело в потолок. Впалая грудка размером с куриную расчерчена бугорками узких ребрышек, с двумя темными пуговками сосков. Костистые ручки послушно вытянуты вдоль тела. Ноги – и не ноги даже, а обтянутые кожей мослы, – раскинулись в стороны, чуть приоткрыв мелкие складочки женской плоти. Скинутая рубаха топорщилась в углу дивана, заботливо приткнутая в щель между сиденьем и стенкой – чтоб не упала между делом и не испачкалась.

Скосила глаза на Деева, глядит робко: правильно ли все сделала?

– Это что? – не понял в первое мгновение тот.

Понимание пришло не сразу, а накатывало постепенно, горячими волнами. Ожгло сперва внутренности, затем шею и загривок, а он все пялился недоуменно на бледное девчачье тельце в крупных мурашках от прохлады – все пытался разгадать смысл этой странной картины. И только когда обжигающая волна вступила в голову – понял вдруг и аж задохнулся.

Хотел гаркнуть – а не может: горло свело. Схватил девчоночью одежду, шваркнул аккурат во впалое пузо – одевайся живо! – и выскочил вон.

Лицо пылало так, что впору голову на улицу выставлять – под ветер и дождь. Ухватился за раму коридорного окна и стал рвать вниз – не поддается. А от сопротивления – только горячей внутри становится. Тянет Деев раму книзу и знает, что откроет вот-вот, откроет непременно – или выбьет кулаком дурацкое стекло...

– Оно же заколочено.

Обернулся: позади – Белая.

А и правда, рама-то гвоздями забита, основательно, по всему периметру.

Комиссар смотрит на Деева странным взглядом, но удивляется не его глупому поведению, а какой-то своей, глубоко поразившей ее мысли.

– Знаете, почему девочки голодают? – спрашивает. – Они думают, каша отравлена.

– А? – никак не может прийти в себя Деев.

– Они думают, мы убиваем детей, а после продаем их тела американцам.

– Как... – Голос еще не слушается, приходится откашляться и повторить: – Как – продаем?

– Довольно дешево. – Белая говорит спокойно, четко выговаривая каждое слово. – Русских мальчиков по двадцать рублей. Татарских – по пятнадцать. Чувашей и мордву – по десятке. И девочек – всех по десятке, независимо от национальности.

Дверь комиссарского купе приоткрыта. Допрошенная Белой малышка выглядывает из щели на мгновение, зыр-кает на взрослых покрасневшими от слез глазами и ныряет обратно.

– Кто пустил слух?

– Этого они вам не скажут, – Белая безотрывно смотрит за мокрое от дождя заколоченное окно. – Никогда.

Деев и сам не понял, как оно случилось, – но через мгновение уже оказался в девчачьем вагоне, рыскал между лавок и кричал так, что, верно, машинистам в паровозе было слышно.

– ...Каким таким американцам?! – бушевал он. – Да как только мозги ваши цыплячи до того додуматься могли?! Как только языки ваши повернулись такое друг другу передавать?! – Звуки лились из гортани свободно и чисто, словно не бранился, а песню горланил. – Приказываю всем отставить глупости и лопать обед! Правило номер четыре – правило начальника эшелона! Исполнять немедленно!

Бунтарки пучили от страха глаза и распахивали рты, как рыбы на суше. У некоторых катились по щекам слезы и сопли, но плакать в голос не смели и даже всхлипнуть не смели – так и сидели с мокрыми лицами. Да что там! Сестры – и те по углам разлетелись, как ветром подувало.

Одна только Белая не растерялась: схватила первую попавшуюся кружку с кашей и – хлоп! – опрокинула себе в руку, стала деловито есть прямо с ладони, губами подхватывая рассыпающиеся крупинки и облизывая пальцы. И вторую кружку затем – хлоп!

Увидел это Деев – и тоже кружку себе в ладонь: хлоп! Еда не лезла – до того был зол, – но запикивал в себя, глотал не жуя, едва шевеля челюстями и свирепо вращая глазами. Непрожеванная крупа драла глотку, комом вставала поперек пищевода. А он упрямо вторую кружку – хлоп!

Девочки сперва наблюдали растерянно, как взрослые уминают их паек, а затем – словно по команде – принялись наворачивать сами. Кто сыпал из кружки прямо в рот, кто опускал в кружку лицо и хватал губами, кто, как комиссар, наваливал кашу в ладонь и лопал из горсти...

Через минуту трапеза была окончена.

Все пять пассажирских вагонов – накормлены.

* * *

Слухи будут сопровождать эшелон всю дорогу. Ни единого раза Деев не дознается, кто был придумщиком или откуда пошел гулять тот или иной слушок.

Самый стойкий слух – об “американском эшелоне” – разгорится и затухнет не единожды. Якобы гуляет по железным дорогам России состав из сотни вагонов, битком набитых сладкой кукурузой, шоколадом и тушенкой. А провизии в нем так много, что раздают на каждой станции – и меньше не становится. А раздают не всем – только тем, кто согласится выучить на американском языке длинную считалку и произнести три раза подряд не сбившись, стоя на одной ноге и ни разу при этом не сморгнув. А считалка та не просто тарабарщина – клятва верности американскому королю. Пожалуй, за щедрый харч можно бы такую присягу и принести. Тем более что где он, за какими морями-горами тот неведомый король?!

Печальный слух – о смерти Ленина – вызовет немало слез, особенно у девчонок. Мол, нет больше с нами вождя мирового пролетариата, умер давно. А что газеты сводки о его здоровье печатают, так все глупости и “утки”. На самом-то деле лежит уже дедушка Ленин в хрустальном гробу, а гроб тот подвешен на золотых цепях в самой высокой башне Московского Кремля. Охраняют тот гроб, сменяя друг друга, товарищи Троцкий, Калинин и Держинский, а верная Крупская сама вставляет каждому караульному в уши пропитанную воском вату, чтобы не оглохли от звона курантов.

Слух о нападении Китай-царя оставит детей равнодушными – поболтают немного и успокоятся: до Туркестана, куда направляется деевская “гирлянда”, китайцы дойдут вряд ли, а любимых родственников в России, за которых пришлось бы переживать, ни у кого из пассажиров не имеется.

Некоторые толки будут столь нелепы, что впору расхохотаться, – но придется опровергать и их. То Деев – настоящий вампир, каких показывают в кинематографе: ночами выпускает длиннющие клыки, шастает по вагонам и пьет кровь непослушных пассажиров. То Деев – английский шпион. То Деев – это сам Фриггоф Нансен, который привез в голодающую Россию миллион пудов еды, выучил здесь русский язык, а теперь взамен вывозит обратно за границу миллион детей – на корм белым медведям, что тоже живут впроголодь на своем Северном полюсе.

Почему-то про Белую такие разговоры ходить не будут – только про Деева.

Откуда возникали эти небылицы, он так и не поймет. Возможно, странные и страшные фантазии необходимы детям – как замена сказок, в которые они не верили.

* * *

– Младенцу нужно молоко, – сказала Фатима.

Кукушонок, поспавший на ее руках пару часов, давно уже проснулся и орал на весь штабной, разевая беззубый рот и надувая огромные слюнявые пузыри. Сосунок был крошечный, хилый, а пасть у него – огромная.

Под ногами у Фатимы толкались еще пяток малолеток: обитатели малышowego вагона распозлись по купе и коридорам, как мураши, с любопытствующими рожицами обнюхивая и облизывая все, что попадалось на пути; самые робкие же сбились у юбки воспитательницы

и вцепились накрепко, образуя подобие живого неповоротливого шлейфа. Потому перемещалась Фатима теперь медленно, соразмеряя длину своего шага с нестройными шажками десятка крошечных ног, а младенца качала аккуратно, чтобы не ударить локтем кого-то из своей свиты. На круглом и прекрасном лице ее Деев не заметил и следа раздражения или усталости – напротив, оно помолодело за последние часы. Словно эта женщина всегда была такая – облепленная детьми, с детьми на руках и с детьми вокруг. Все в ней осталось прежним: и осанка, и мягкость движений, и теплый взгляд, – и одновременно все изменилось: это была другая Фатима – земная, сильная, безустанная. Успевала везде: похлопывать сосунка, улыбаться вцепившимся в нее малышатам, следить за другими детьми, разговаривать с начальством.

– Любое молоко, – продолжала спокойно, будто не извивался у нее на руках ревмя ревуший младенец. – Коровье, козье, человечье.

– Пшеном не обойдемся? – глупо спросил Деев.

– Не молоко ему нужно, а дом малютки, – возразила Белая. – Но ближайший – в паре дней ходу. До тех пор либо он от крика посинеет, либо мы. Да и не возьмут его там: эвакуэшелоны детей забирают из приемников, а не обратно раздают. Куда дитё сбывать будем, товарищ начальник?

И ведь, казалось бы, права она: сосунку не место в эшелоне. Но тогда где же ему – место? В уездном доме ребенка, где осенью из каминов хлещет дождь, а зимой на стенах иней с палец толщиной и каждое утро на ступенях у входа пополнение? В придорожной канаве, куда улетела, кувыркаясь и ломая ноги, его мать?

Фатима, ловко перемещая малыша из одной руки в другую, высвободила его из мокрой насквозь пеленки. Дитя оказалось мальчиком. Не давая голому ребенку остыть, она прижала его к своему полному телу – и тот мгновенно обхватил ее морщинистыми лапками, погружаясь в женские грудь и живот, как в перину. И столько отчаяния и жизненной страсти было в этом движении, что у Деева погорячело внутри.

Стало неловко от интимной картины – желая занять глаза и руки, поднял сброшенную на пол алую тряпку, развернул. А то и не пеленка вовсе – знамя: по окантованному желтым шнуром кумачу раскинулись вышитые крупно буквы “Смерть буржуазии и ее прихвостням!”.

– Агитацию отстирать и повесить на стену, – скомандовал, аккуратно складывая флаг в пустую ванну. – Молоко будет. До тех пор что хочешь, Фатима, с дитём делай, хоть пляши с ним, хоть песни пой по-древнегречески, а чтоб не синел.

– Это кого ж вы в пути доить собрались? – усмехнулась Белая. – Встречных машинистов?

Отвечать ей не стал. Расстегнул гимнастерку, стянул через голову; исподнюю рубаху тоже стянул и кинул Фатиме – для голыша: пусть будет у Кукушонка белая одежда, как у остальных детей. Было в этом что-то настоящее и правильное, словно белой рубахой своей принимал Деев младенца в эшелон окончательно. А еще правильнее было то, что сам он теперь остался без исподнего, – как и пять сотен незнакомых ему братьев-солдат из Казанского кремля.

Вдруг понял, что стоит полуодетый, а женщины внимательно смотрят на него. Не в глаза смотрят – на деевские голые руки и плечи: Белая – оценивающе, как доктор на медосмотре, а Фатима – печально и ласково, по-матерински. Ох, бабье! Даром что одна университетка, а вторая комиссар...

Щеки отчего-то потеплели, словно не спутницы бесстыже пялились на мужское тело, а он сам – на женское. Но некогда было глупости разводить – пора было идти в лазарет, под строгие очи фельдшера.

Натягивал гимнастерку, приглаживал растрепавшийся чубчик – собирался с духом. А фельдшер возьми да и явись сам: глаза мрачнее мрачного, в руке полведра каши.

– Что ж ты, – говорит, – внучек, от меня бегаешь? Там целая рота не кормлена. Пшено лежачим нельзя, глотки и без того суррогатом ободраны. Где же обещанные масло и яйца?

* * *

Губы у лежачих были сухие и бледные, в трещинах и белых пузырях. В такой рот страшно было и ложку вставить, а ну как порвешь (хотя ложек в эшелоне никаких и не было). Носы – острые, с запекшейся корочкой вокруг ноздрей. Глаза – прикрыты.

Дети лежали по лавкам, уже укутанные в одеяла – багажные мешки. Рядом с темной холстиной личики их казались бумажно-белыми. Кое-где на мешках синели большие двуглавые орлы и фиолетовые печати: “Московский телеграф”, “Почтовое ведомство Санкт-Петербурга”, “Тифлисская железная дорога”. Мешок Сени-чувашина был заграничный – усыпанный незнакомыми буквами, прочитав которые Деев не умел: “*Coffee de Costa Rica*”. Наблюдать имперские гербы и чужеземные надписи на телах советской детворы было неловко, но что поделаешь.

Пространство бывшей церкви было щедро отделано деревянными завитушками в золотой краске, и льющийся из арочных окон свет играл на позолоте, разбрасывая вокруг россыпи желтых бликов: по детским телам и лицам, по свежеструганым нарам, по некогда кухонному, а теперь уже операционному столу, по белому халату фельдшера и по тряпичной загородке в алтаре, за которой прятался фельдшерский топчан.

– Я, между прочим, полное право имел сойти с маршрута, – угрюмо сообщил Буг, как только они оказались в лазарете.

Так точно, кивает Деев устало. Имел.

– И от этого права не отказываюсь! Не подписывался я один целый санаторий заменять. Лежачим только и место в санатории! С кухарками, диетсестрами, няньками и врачами-профессорами.

Опять кивает Деев: так точно, принял к сведению.

– И потому ставлю условие: все мои требования выполнять неукоснительно. Ответственности за больных на себя не беру, все они – на твоей совести, внучек. Но помочь – попробую. Соглашается и с этим Деев.

– Для начала выдай молока. И яиц побольше, для гоголь-моголя. Масла пока не прошу, посмотрим, как желудки работают. Если есть рыбий жир, выдай и его, начну давать по капле. И мяса, конечно, постного – белок истощенному организму жизненно необходим. Еще мыла хозяйственного и парафина – пролежни смазывать.

Морщится Деев, а нечего делать – кивает. Мол, выдам, конечно, выдам. Скоро.

– Мне сейчас нужно! Их же кормить восемь раз в сутки, а лучше чаще. Нет молока с яйцами – выдай, что имеешь, из спецпайка.

Молчит Деев и даже не кивает уже. Не признаваться же, что никакого спецпайка нет и в помине, а на кухонном складе в достатке лишь отруби да подсолнечный жмых. Про парафин с мылом – и говорить нечего.

– У тебя что, и мяса нет? – не верит фельдшер. – И муки, и сметаны? Нет рыбы? Нет какао или шоколада? Сахара, на худой конец? Никакого спецпитания – нет?

Это когда ж ты последний раз видывал шоколад со сметаной?! – хотелось Дееву закричать. Обычные люди уже и слов таких не помнят, не то что вкуса! Что ли, ты прямиком с луны в эшелон свалился?! Но не закричал, сдержал себя.

– Как же ты их взял, внучек? – Буг смотрел на Деева, будто впервые видел. – На что надеялся? Чем кормить собирался – духом святым?

– Давай мы им пока пшена нажужим, – предложил Деев.

– Что ж ты за дурак такой? Ты же их всех, считай, уже убил. Сам убил.

Надо было, значит, в приемнике их оставить умирать?! Где рубль в неделю на ребенка?! Где сплошное спецпитание – пыль мельничная да овсяная шелуха?!

– В деревнях так сосунков кормят, – настаивал Деев. – Мелко-мелко зубами перетрем и сплюнем в рот каждому.

– Могильщика из меня решил сделать? – Буг расстегнул пуговицы белого халата, а пальцы-то не слушаются, еле справляются. – Не выйдет. Я лечить привык, а не хоронить. Я схожу – на следующей же станции.

– Нет, – покачал головой Деев. – Не сходишь. Потому что я тебе все добуду. Шоколад не обещаю, а масло и яйца – наверное.

– Еще и хвастун! – справившись наконец с пуговицами, Буг вытащил из-под операционного стола свой чемодан и начал складывать туда халат; складывал аккуратно, но белые рукава никак не желали уместиться в фанерные недра – выпрастывались упрямо, не давая закрыть чемоданную застежку.

И тут раздается сдавленный смешок: хихикает мальчуган, что все это время бездумно пялился в потолок; и теперь продолжает пялиться, не меняя выражения лица и даже не разжимая губ, а откуда-то из утробы его несутся еле слышные звуки. Смеется не над взрослыми, а чему-то своему, потаенному. За это Деев еще утром дал ему прозвище Тараканий Смех. Разговаривать мальчик уже разучился, а смеяться – еще нет.

– Если добуду – останешься в эшелоне?

– Не останусь.

– И пойдешь под трибунал! Задание по спасению голодающих детей приказываю считать боевым. Бегство из эшелона приравниваю к дезертирству.

– Я, внучек, с военной службы на пенсию ушел, когда ты еще не родился. И приказам вот уже четверть века не подчиняюсь.

– Ну и черт с тобой! – обиделся Деев. – Можешь на ходу спрыгнуть, если нейметя. Иди поищи себе эшелон побогаче! Где какао в серебряных чашках подают и сахар золотыми ложками размешивают. Условия он мне будет ставить, империалист... Сам детей накормлю! – уже не говорил, а кричал во весь голос, невзирая на преклонный возраст собеседника и белые седины. – И сам довезу! Все у меня доедут до Самарканда, все до единого!

Взял отставленное ведро с кашей, зачерпнул полкружки и принялся кормить детей.

Задумал было перетертое пшено сплевывать в кружку и выпаивать этой жижей больных, но дело не пошло – они будто уже и пить разучились: не успевали вовремя разжать челюсти или, наоборот, сомкнуть; кружка звенела о зубы, месиво текло по лицам, не попадая в глотки.

Решил по-другому кормить – как младенцев.

Начал с Пчелки. Подолгу жевал вареную крупу, катая мучнистую массу языком по нёбу; затем брал бережно в руки костлявое Пчелкино личико и наклонялся к нему. Губами раскрывал запекшийся девчачий рот – медленно, затаивая свое дыхание и ощущая на щеках чужое, – языком раздвигал Пчелкины зубы и ждал, пока вязкая каша перетечет из него в ребенка. Прохладные чужие губы сжимались еле заметно – девочка глотала. Хорошо, думал Деев. Отрывался от детского рта и жевал новую порцию, вновь припадал к Пчелкиным губам. Хорошо.

Думал о том, что ни разу еще не целовал в губы – ни девуку, ни женщину. А теперь выходит – целовал. И Пчелка, выходит, теперь тоже – целованная. Хорошо. Еще думал о том, что раздобыть в пути молока для младенца – задача хитрая, а уж масла и яиц – почти невозможная. Но где-то, в этом большом и недобром мире, должны же быть и молоко, и масло, и яйца – хотя бы пара фунтов, пара десятков. Не может быть, чтобы не было. Хорошо. Еще думал, что если хватит у Буга ума, то сойдет он не на ближайшей станции, где притормозят они для заправки водой и песком, а дождетя большого транспортного узла – оттуда уехать проще. Это значит, еще чуток побудет фельдшер с детьми и, может, проснется в нем совесть...

Затем кормил Циркачку и Долгоносика.

Стучали колеса. Хихикал тихо о чем-то своем Тараканий Смех. Изредка вскрикивал Сеня-чувашин, то просыпаясь, а то снова впадая в забытье. Фельдшер Буг сидел на табурете,

наблюдая за Деевым. Когда Циркачку стало рвать непереваренной кашей – принялся обмывать ей лицо и следить, чтобы не задохнулась.

Желудки остальных детей приняли пищу – Деев накормил еще Суслика, Сморчка и Чарли Чаплина. Остальных не успел – эшелон загрохотал по мосту через Волгу, приближаясь к станции, а Деев придумал, где достать спецпитание. Мысль была отчаянная, даже безумная, но других не имелось. Он сунул фельдшеру ведро с остатками каши и, ни слова не говоря, выскочил вон.

* * *

Крошечная станция называлась Свяжск. Одноименный городок располагался в отдалении, в нескольких верстах, – на берегу Волги и впадающей в нее Свяги. При станции имелись пара домиков, кубовая с кипятком для пассажиров и паровозная колонка.

– Здесь переночуем, – объявил Деев машинисту, когда длинный рукав колонки уткнулся в паровозью морду и задрожал под напором воды.

– У меня маршрутная еще на сорок верст! – возмутился тот. – Ты же сам утром кричал, чтобы мы птицами летели.

– Кричал, – согласился Деев. – А теперь передумал.

Слушать, как машинист его костерит, не стал. Спрыгнул на землю и зашагал по едва приметной тропинке в город.

– У тебя же детей голодных – армия! – надрывался машинист ему вслед. – Их-то зачем тут муржишь, полоумный?

Правильное это было слово: полоумный. А вернее сказать, и вовсе без ума. Потому как шагал Деев туда, куда здравомыслящие люди не ходят. И делать собирался то, что можно было назвать полным безрассудством. Белой ничего рассказывать не стал – она и не знала еще, что Деев самовольно остановил состав на половине дневного пути.

Благоразумие сейчас было лишним: никто в трезвом уме не взялся бы искать в Поволжье яйца или сливочное масло, сметану или сахар. Вот уже несколько лет эти слова существовали не как названия продуктов, а как воспоминания о прошлой жизни. Масло не ели – о нем мечтали. Конфеты не ели – о них рассказывали детям. А ели – суррогаты.

Лучший суррогатный хлеб получался с просом, овсом и отрубями. Очень даже неплохой – со жмыхами всех сортов. Вовсе невкусный – со мхами и травами: крапивой, лебедой, корнями одуванчика, рогозом, камышом и кувшинками. Вредными суррогатами считались конский щавель, акация, липовая стружка и солома – даже свиньи не жаловали соломенную муку. Еще в хлеб толкли желуди и мягкое дерево – липу, березу, сосну, – но есть древесный хлеб умели не все. И кровяной хлеб готовить умели тоже не все. На базарах торговали избоиной¹, бусом², ботвой и битыми воронами. Редко – молоком или рыбой, картошкой, семенами подсолнечника, ягодами. Спекулянты промышленляли деликатесами – льняным маслом и кукурузной мукой.

Сам Деев не помнил, когда последний раз ел сливочное масло. Возможно, как раз в этих самых краях, под Свяжском, в первый год войны: схроны крестьян тогда еще были полны припасов и устроены незамысловато, где-нибудь в амбарном подполе или колодце на задворках картофельного поля, так что обнаружить их мог и ребенок.

Пока шагал до города – смеркалось; вошел туда уже затемно. Городок был мелкий, как игрушечный, – лепился на гребне могучего холма, чуть стекая по склону к Волге, – и Деев решил идти в самое сердце Свяжска, на вершину. Где располагалась цель его похода – не

¹ Остатки от семян в маслобойном производстве; то же, что и жмых.

² Мучная пыль на мельнице, обычно идущая на корм скоту.

знал, но был уверен, что найдет, – ночь ему в помощь: там, куда направлялся Деев, по ночам не спали. И не ошибся – еще издали различил на самом высоком пригорке двухэтажный особняк купеческого вида, с просторным мезонином и балконом во всю ширь. В окнах ярко горел свет. Улицы вокруг были черны и тихи – особняк парил над городом, как светило в небесной выси.

Взбираясь по мостовой вверх, Деев уловил в темноте едва слышные звуки – всхлипы и плач. Разглядеть плачущих не смог: не то бабы, не то старики, не то и вовсе какие-то тени. Понял одно: было их немало – жались к деревьям и уличным заборам, с приближением Деева умолкали, а пропустив, стенали вновь. Чем ближе к особняку, тем меньше их было. На пустыре же около сияющего здания не было никого. Оставшиеся позади всхлипы почти растворились в тишине, но не окончательно – дрожали в воздухе, как дальний комариный писк.

В глубине дома раздался выстрел, затем второй – где-то далеко взбрехнула в ответ разбуженная собака и снова умолкла. И комариный писк умолк, словно срезало.

Деев поднялся на крыльцо, потянул на себя тяжелую дверь и шагнул внутрь. Доставать револьвер было нельзя, и даже руку держать на заветном кармане – тоже нельзя. Он выставил растопыренные ладони вверх – а ладони-то влажные, будто водой омытые, – и огляделся, в любую секунду готовый выкрикнуть заготовленную фразу: “Свои! Не стрелять!”

Стоял в тесной прихожей с обшарпанными стенами, где прямо поверх обнажившейся дранки были намалеваны краской огромные слова: “Смерть врагам народа – корниловцам, каппелевцам...” Конец надписи терялся в темноте подвала – туда спускались крутые ступени, оттуда же доносился гул голосов. Другое крыло лестницы вело на второй этаж, где, кажется, тоже кто-то был. Охраны не имелось. Деев подумал немного и медленно двинулся по ступеням вверх.

Скоро оказался у двустворчатой двери; одна створка чуть приоткрыта, из образовавшейся щели бьет свет и пахнет жженым порохом. Сама створка крепкая, дубовая – такую револьвер не пробьет, а только если пулемет. Деев пристроился за ней – чтобы не торчали из укрытия ни плечи, ни поднятые к потолку руки, – собрал в кулак холодную от пота ладонь и осторожно постучал.

Тишина в ответ.

Постучал вновь. Не дождавшись отклика, легонько толкнул отошедшую створку – та со скрипом отворилась, открывая большое пространство: много электрического света, много порохового дыма. Из этого света и дыма смотрели на замершего Деева две черные дыры – два револьверных ствола.

– Закройте дверь, пожалуйста, – попросил из глубины комнаты вежливый голос. – Вы мешаете.

На ослабелых ногах Деев шагнул в помещение. Раскрытые ладони по-прежнему держал вытянутыми вверх.

Бывшая купеческая гостиная выглядела так, будто ее основательно потряс какой-то великан: населявшие ранее комнату многочисленные предметы – картины, зеркала, жардиньерки – в беспорядке валялись по углам, опрокинутые или поставленные на попа. Мебель была сдвинута с мест и теснилась причудливым образом: обеденный стол подпирал раскрытое фортепиано, козетки въехали в лишенный дверок буфет. Все вещи и поверхности устилали бумаги: кипы канцелярских папок, тетрадей и отдельных листов покрывали пространство толстым слоем, который оживал и трепетал при малейшем движении воздуха.

В комнате было трое. Один – с головою черной и обильно кучерявой, как бараний бок, – развалился на кушетке, уютно составив ноги на лежащие рядом настенные часы с вывалившимся наружу маятником. Второй – с далеко торчащими в стороны огненно-рыжими усищами – сидел в выдвинутом на середину кресле и целил револьвером в Деева. Рядом, едва помещаясь в таком же кресле, восседал и третий – огромный, лысый – и тоже целился.

– Доброй ночи, товарищи, – произнес Деев тихо (губы от волнения пересохли, но голос не дрожал). – Я начальник эшелона, везу голдетей³ в Самарканд. Есть лежачие, много. Им нужны яйца, масло и молоко.

– Вы ошиблись, товарищ, – все так же вежливо ответил Баранья Башка. – Это не питательный пункт. Это свияжское отделение ЧК.

– Я знаю, куда пришел. – Очень хотелось сглотнуть и увлажнить горло, но зев был сухой и шершавый, как наждак. – А вы знаете, у кого в этом городе есть укрытые продукты.

Грянул выстрел. Взвизгнуло и вздрогнуло где-то совсем рядом, справа, – пуля вошла в дверной косяк. И тотчас, почти без перерыва, – второй выстрел – в другой косяк, слева.

Пара бумажных листов слетела с буфета и закружилась по выщербленному паркету.

Деев стоял неподвижно. Сердце колотилось в животе, в горле и даже в кончиках вытянутых кверху пальцев. Глаза и нос щипало едко, но опустить хотя бы одну руку и отереть лицо ладонью не решился.

Двое в креслах, не дожидаясь, пока рассеется дым, опять взвели курки: Огненные Усы – откровенно забавляясь ситуацией и с любопытством ощупывая гостя хитрющими глазами, Лысый – равнодушно, с какой-то барской ленцой в движениях, глядя даже и не на Деева, а куда-то мимо. Этот – главный, понял Деев. Этот все решает.

– Да, мы знаем, у кого в этом городе имеются резервы. – Баранья Башка словно и не заметил стрельбы. – А вы что же, раскулачивать их пойдете? – Ни капли ехидства не было в голосе, а одна только участливость. – Сей же час или дождетесь утра?

– Утром я уезжаю. – Деев изо всех сил напрягал пальцы рук, чтобы не тряслись. – И у меня нет солдат сопровождения. Прошу вас помочь мне экспроприировать у зажиточных слоев населения спецпитание для голодающих детей. Прямо сейчас.

Огненные Усы громко прыснул, надувая щеки и брызгая слюной, – и без того узкие глаза его сделались и вовсе крошечными, а усы встопорщились, закрывая пол-лица. Он давился смехом, дергая плечами и мелко тряся бритым черепом; наконец уткнулся сморщенным лицом в кулак с зажатым револьвером да так и замер, слегка постанывая от переполняющих чувств. Лысый же, наоборот, словно и не слышал дерзкую деевскую речь – сидел в кресле, огрузнув, положив могучий подбородок на могучую же грудь и устало прикрыв глаза; необъятная шея его хомутом лежала поверх кителя.

Кажется, оба были нетрезвы.

Меж кресел Деев заметил шахматный столик. Вместо фигур на клетчатой доске стояли хрустальные бокалы, некоторые – полны.

– Да-да, прямо сейчас, – понимающе закивал Баранья Башка. – То есть мы должны сию же минуту оставить наши дела, поднять спящих солдат, вломиться в дом к какому-нибудь мироеду и реквизировать у него для вас дюжину яиц и фунт масла?

– Дюжины будет мало, – ответил Деев. – Яиц нужна хотя бы сотня, а масла – фунтов десять, не меньше.

Не в силах более сдерживаться, Огненные Усы захохотал, запрокинув голову к потолку и обнажая до десен коричневые зубы. Рукой с револьвером пытался утереть проступившие на глазах слезы – оружие вихлялось во все стороны.

– Хвалю-у-у-у-у... – скулил он, заходясь от хохота. – Хвалю наглеца-а-а-а...

– А будить никого не нужно. – Деев старался не смотреть на револьвер, ствол которого плясал так недалеко, указывая то в лицо Деева, то в живот. – И раскулачивать тоже. Нужно просто прийти в дом – вы же знаете к кому, – сейчас прийти, ночью, когда сонные все и не соображают ни черта. Прийти и сказать, чтобы отдавали запасы. Что сейчас наступил самый край. Они вам поверят и послушают – сами всё отдадут.

³ Голдети – голодные дети (привычное для того времени сокращение).

Снова жажнул выстрел. В углу что-то застонало и задребезжало многогласно, а Огненные Усы уставился недоуменно на дымящееся оружие: выпущенная им пуля ранила фортепиано.

От грохота очнулся Лысый – немедля вздернул кисть кверху и тоже: жах! И снова дрогнуло рядом с Деевым – еще одна пуля вошла в косяк.

При каждом выстреле желудок Деева сжимался ледяным комом – кажется, сжимался и сам Деев, все более горбясь и скукоживаясь. Заметил, что поднятые руки держит уже не по сторонам, а почти перед лицом – будто защищаясь от пальбы.

– Какой же это край? – невозмутимо продолжал беседу Баранья Башка. – Край будет в декабре, когда зимняя заготкампания начнется. Что нам кулачье зимой сдавать будет, если мы их сейчас выпотрошим?

– Да вы же их знаете! – Деев изо всех сил напрягал спину, чтобы не согнуться крючком перед хозяевами, и оттого голос его звучал сдавленно, как простуженный. – Через пару месяцев тайники и схроны опять битком набьются. Кулак – он живучий, он же едой обрастает, словно зверье шерстью: сколько ни брей, все равно лохматый.

– Послушайте, откуда вы такой взялись? – Заинтересованный разговором, Баранья Башка даже привстал с кушетки, чтобы лучше разглядеть окутанного клубами дыма гостя. – Нахальный, настырный и всё про всё знаете!

– Отсюда, из-под Свяжска – я здесь воевал.

Дееву почудилось, что револьверные стволы опять глядят на него двумя черными дырами, – но нет: это Лысый, приподняв складки набрякших век, вперился в Деева немигающим взглядом. Грузное лицо Лысого было неподвижно как булыжник и столь же гладко: ни единого волоска не имелось на пористой коже, ни даже бровей или ресниц. На крупнобугорчатой лысине блестел пот. Очень медленно Лысый вложил оружие в кобуру (попал не вмиг, а со второго-третьего раза); упершись в подлокотники, под натужный скрип кресла поднял свое большое тело и перенес вес на широко расставленные ноги – да так и застыл, чуть покачиваясь, посреди комнаты. Смотреть продолжал на Деева – безотрывно.

Остальные тотчас засуетились.

– Партия! – непонятно выкрикнул Баранья Башка, распахивая балконную дверь – впуская свежий воздух в помещение. И далее, Дееву: – Товарищ, пересчитайте, пожалуйста! Вам ближе.

Не поняв, чего от него хотят, Деев обернулся растерянно – и обнаружил странную картину: на разбитом пулями дверном косяке от самого верха и до низу английскими булавками были приколоты мухи – обыкновенные серые мухи. От некоторых остались только вмятины в дереве. Некоторые, хотя и пронзенные булавками, все еще были живы и даже подергивали конечностями. Видимо, здесь проходило состязание в меткости.

– Шесть попаданий, – подсчитал Деев, касаясь левого косяка. – А здесь три, – касаясь правого.

Баранья Башка заплодировал, не то чувствуя победителя, не то давая сигнал заканчивать. Огненные Усы, сокрушенно постанывая, цапнул с шахматной доски полный фужер и опрокинул в глотку: судя по всему, он сегодня проиграл. Вернуть посуду на стол не сумел – фужер скользнул из неверной руки и хрястнул на пол, где плясали хороводом потревоженные сквозняком бумаги.

А с улицы уже неслись возбужденные голоса, ржание коней. За дверью, на лестнице, топотали шаги.

– Товарищ начотделения! – настойчиво позвал голос из дверного проема. – Привезли.

Лысый, едва качнув черепом и по-прежнему не отрывая глаз от деевского лица, двинулся к выходу. Движения его были медлительны и тяжелы, как у паровоза в минуту отправления; под сапожищами стонал паркет.

Приблизившись, он обложил огромными лапами деевскую голову и притиснул к ней свою: лоб ко лбу. Дышал горячо и влажно – крепчайшим самогоном: Деева словно в бочку первача окунули. Мясистые губы Лысого открылись, намереваясь что-то произнести, долго шевелились, как пара вытасненных из раковины улиток, и наконец выдавили:

– Когда... воевал... здесь?

– Летом восемнадцатого. – Деев задыхался в объятиях, но говорить старался быстро и внятно. – Оборона Свияжска и освобождение Казани от войск генерала Каппеля.

– Часть?

– Вторая пешая.

– Кто... командовал... армией?

– Войсками правого берега – командарм Славин. Левого – комбриг Юдин.

Воздуха в легких не осталось – одни спиртовые пары. Голова – в тисках железных ладоней, а тиски – все крепче, крепче...

– Кто из них... взял... Казань?

– Из них – никто. Взятием Казани руководил специально прибывший из Москвы наркомвоенмор Троцкий.

Охватившие Деева тиски рванули голову куда-то вверх – земля ушла из-под ног, в глазах плеснуло черным, губы залепило чем-то обжигающим и скользким. Это же скользкое наполнило рот, зашевелилось где-то на нёбе и достигло зева – распирало Деева изнутри, проникая все глубже и не давая вдохнуть. Неужели всё? Кончено? Такая она, смерть?

И вдруг отпустило: ноги нащупали пол, в глазах посветлело – одарив сослуживца долгим и смачным поцелуем дружбы, Лысый ослабил хватку.

– Катера... помнишь?

– Хотел бы забыть – не могу. – Деев едва переводил дух. – Снятся иногда.

Катерами заутюжили в восемнадцатом сорок бойцов-красноармейцев, кто пытался бежать из Свияжска во время боя. По приказу товарища Троцкого расстреляли перед строем – свои же однополчане расстреляли, – а затем сбросили в Волгу и заутюжили в кисель.

– А мне – каждую ночь снятся. – Лысый даже заговорил быстрее, не то размяв губы допросом, не то взбодренный воспоминанием. – И много у тебя детей в эшелоне?

– Пять сотен.

– Что ж так мало просишь?! – Лысый ухватил боевого товарища за плечи и легонько встряхнул – Деева голова едва не хрястнула о косяк. – Да и просишь-то – не так! Не яйца надо просить, а кур. Не молоко, а корову. – Гигантской лапой легонько цопнул деевский чуб и взьерошил, журуя, – и вновь голова едва не треснулась о стену. – Детям – ничего не жалко! Детям – всё!

Прощально хлопнул бывшего соратника по плечу и затопал по ступеням вниз – лестница заныла, как от боли. Баранья Башка, окинув Деева внимательным взглядом, скользнул вслед.

– А лекарства есть? – обернулся Лысый на спуске. – Об этом что молчишь? И лекарства дам. Всё дам!.. Завтра утром доставят, к поезду, – донеслось уже снизу. – Жди.

И Дееву бы – за ними, вон отсюда, опрометью. Но не тут-то было: в комнате еще оставался третий хозяин. Огненные Усы, ухмыляясь во всю пасть, протягивал гостю два полных фужера. Поняв, однако, что тот к выпивке не расположен, опрокинул в себя, уронил на пол и, давя башмаками хрустальные осколки, проковылял на балкон. На ногах держался едва – того и гляди выпадет и сломает шею.

Деев только и хотел не дать человеку пропасть: тоже выскочил на балкон, чтобы успеть ухватить пьяного за полу. А тот уже и сам Деева ухватил, револьвер ему под ребра сует – глубоко, до самых печенок.

– Откуда вы знали, что начальник отделения – ваш сослуживец? – шепчет в ухо. – Вы же только что прибыли.

Деев не мог вспомнить, успел ли Огненные Усы зарядить оружие. Может, и успел – и зарядить, и курок взвести.

– Я не знал, – честно признался он.

Дуло, кажется, раздвинуло кишки и уперлось в хребет – вот-вот проткнет насквозь. Больно – не продохнуть.

– То есть вы просто так, в чужом городе, явились в ЧК и потребовали масла с яйцами?

А глаза-то у дознавателя трезвые совершенно.

– Да, именно так.

– Подождите-подождите... Ну а если бы не оказалось тут вашего товарища по фронту? Или если бы он не поверил вам? Или если бы не растрогался и не согласился дать что нужно? Тогда – что?

– Я бы не ушел, пока не дали, – снова честно признался Деев.

Твердый ствол отстраняется от него – и вновь можно дышать.

– Ну вы и хват! – хохочет восхищенно Огненные Усы; черты лица его стремительно смягчают и оплывают, взгляд опять заволакивает пьяной дымкой. – Удивительно, что вы всего лишь командуете эшелоном, – это с вашим-то характером!

– Так это я для других только хват.

– А для себя? – подначивает Огненные Усы и, пошатнувшись, таки едва не падает за перила.

– А для себя мне ничего не нужно! – Деев успел подхватить пьяного, но тот уже и вовсе не стоит на ногах: оседает, стекает на пол и, прислонившись плечами к балконной ограде, просовывает бритый череп наружу.

– Слушайте, а идите работать к нам в ЧК? – слышен из-за перил его заплетающийся голос. – Нам нужны такие как вы...

А внизу перед зданием – телега с людьми, все раздеты до исподнего, со связанными руками. Солдаты-конвоиры – со штыками. В темноте поет-звенит пронзительный комариный писк – женские всхлипы и вздохи, – но самих плачущих не видно. Зато гладкое темечко Лысого видно прекрасно – блестит в лунном свете, как намащённое. Лысый стоит на крыльце и наблюдает за разгрузкой обоза.

– Работы-то много! – сокрушается Огненные Усы, покачивая торчащей с балкона головой. – Ох как много...

Затем его рвет, обильно и долго.

Облегчив желудок, нащупывает рядом с собой оброненный револьвер, вставляет ствол меж зубов, нажимает спуск – сухой щелчок: барабан – пуст.

– Все на мух расстрелял... – шепчет огорченно, вбирая голову обратно и поднимаясь на ноги. – На мух, а?! – уже не бормочет, а кричит с веселой злостью. – На мух!

Сует оружие за ремень. Выбивает хлопками запылившиеся брюки, отряхивает грязь с колен и ладоней, приглаживает пятерней бритую макушку. Заключает мрачно:

– Ничто меня не берет – ни водка, ни пуля.

И, окончательно позабыв про Деева, идет вон – стремительным и ровным шагом.

* * *

К эшелону Деев вернулся уже за полночь. Голова была тяжелая, словно камнями набита. Неудержимо клонило присесть или прислониться к чему-либо, но Деев понимал – нельзя: остановись на мгновение – и провалишься в сон.

“Гирлянда” стояла на путях беззвучная и темная, с погашенными окнами, и только в штабном надрылся осипший Кукушонок. Его баюкала Фатима: тянула песню – ту самую

колыбельную, что пела еще в Казани, – а в перерывах между куплетами увещевала и журила нежно. Называла младенца почему-то Искандером.

Деев постучал в комиссарское купе – негромко, опасаясь разбудить Белую и одновременно надеясь застать бодрствующей, – но там никого не было. Прошел по всему поезду, от начала и до конца, проглядел все отсеки со спящей ребятней – и обнаружил комиссара в самом хвосте: Белая и Буг, сидя на вагонной площадке и прихлебывая кипяток, не то вели малословную беседу, не то молчали.

Лазарет был отцеплен от состава: жгуты и цепи, соединявшие его с предыдущим вагоном, лежали на земле.

– Спелись, да? – Деевские губы едва шевелились от усталости, и голос прозвучал сипло, как у больного.

– Вы отстранены от командования, – сухо произнесла Белая, не удивившись его возникновению из ночной темноты. – Дальше эшелон поведу я. Лазарет с лежачими остается на станции, вместе с фельдшером, – ждать обратного паровоза в Казань. Вам предписываю также вернуться в Казань. А по пути составить объяснительную с описанием причин совершённого должностного преступления.

Слова, слова – они сливались в тугое гудящее облако, что наплывало на Деева и лезло в уши, обволакивало мозг.

– Отправиться в многодневный путь без продуктового фонда – такого в моей жизни еще не было, – продолжало гудеть облако голосом Белой. – Обещаю, что буду лично ходатайствовать о максимально строгом наказании для вас.

– Не будешь, – только и хватило сил сказать. – Утром приедет спецпитание.

– Бог пошлет?

Ни угрозы, ни язвительный тон уже не могли пробить нахлынувшее изнеможение – у Деева не было сил ни оправдываться, ни возражать. Лишь поднял с земли сброшенные сцепки и накинул обратно на тарели – примотал-таки лазарет к эшелону. Вот так.

А когда Буг с Белой привстали со своих мест, намереваясь поспорить, выставил из кармана револьвер – единственный и последний аргумент. Вот так.

– Спокойной ночи, – выдавил.

– Отягощаете вину вооруженным сопротивлением.

– Спокойной ночи, – повторил негромко и прислонился спиной к скрепленным тарелям, всем своим видом показывая: с места не сойду.

И не сошел. Комиссар с фельдшером скоро разошлись, решив отложить разборки до утра. А Деев остался – сторожить сцепки.

Можно было присесть на шпалы и покемарить, или прикорнуть на вагонных ступенях, или даже вернуться в купе и поспать пару часов до рассвета – никуда бы он не делся в ночи, этот лазарет. Но Деев стоял, упрямо подпирая тарели, – хребтом ощущая овивающие их канаты и цепи, – как врос.

Кажется, иногда он подремывал. Но дремота была вязкая, тяжелая – не облегчала, а крепила усталость. Каждый раз вытягивал себя изо сна, как за волосы ташил. Все мерещилось, что трогается поезд и уезжает, оставляя на станции Деева и лазарет со спящими больными. Или что тянут лазаретный вагон обратно в Казань, а с ним и прилепившегося Деева, – и все дома, и столбы, и деревья плывут мимо, возвращая странников к исходу...

Да мерещилось ли? А ведь и правда – плыло вдоль эшелона дерево, огромное, в желто-зеленых листьях. И престранно плыло – не стоймя, как положено деревьям, а лежа, словно качаясь на волнах предрассветного тумана; раскидистые сучья царапали землю и скрежетали противно по вагонным стеклам. Бред, бред! Он тряс мутной от бессонницы головой, но дерево не исчезало, а становилось все явственнее. Длинная ветка протянулась к Дееву и огладила по лицу. На ветке дрожали зеленые плоды: яблоня.

Ошалевший от столь ясного видения, он выскочил на перрон. Дерево, срубленное под самый корень, вез автомобиль: ствол придерживали сидящие в кузове солдаты, а крона волоклась по земле. Заря едва брезжила в небе, но уже и в скудной утренней мгле было видно: яблок – немерено.

– Собрать не успели, так привезли, – извинился Баранья Башка, выпрыгивая из авто. – Куда продукты сгружать?

Не находя слов от изумления, Деев указал рукой на полевую кухню – и солдаты лихо взметнули яблоню на крышу, чем-то привязали: кухонька почти исчезла под сенью могучего растения.

Сонные дети наблюдали за операцией, припав носами к окнам, все до единого – с разъявленными ртами. Взрослые высыпали на улицу и окружили авто, но заговорить с чекистами не решались – так и стояли молча, остолбенело, наблюдая за разгрузкой даров.

Кроме яблок привезено было несколько объемистых мешков, набитых столь туго, что содержимое их перемешалось: картошка с брусками сала, овес в разбитых яйцах, а сушеные ягоды облепили воблу. И это закинули к Мемеле. В другом увесистом мешке странно звенело; заглянув, Деев обнаружил груды фаянсовых осколков – куски расписных чашек и блюдц; видно, в мешок смахнули чайный сервиз, а то и пару. И это к Мемеле, потом разберемся. А еще приехали корзины с квочками: куры сидели в плетенках плотно – не пошевелиться, некоторые чуть не задохнулись по дороге и едва дышали. И этих к Мемеле! И бутыль молока – туда же! И кринки со сметаной...

– Как вы это делаете? – спросила Белая, когда автомобиль чекистов покинул станцию и исчез в клубах тумана.

– Не знаю, – пожал плечами Деев. – Повезло.

– Товарищ начэшелона! – прибежал наблюдавший издалека машинист. – Даешь команду раскоцегаривать машину?

– Даю, – кивнул Деев. – И не жалей угля. Смотри у меня, чтобы птицами летели!

И они полетели – через пару часов, когда паровоз был разогрет, а дети накормлены густым киселем из отрубей с яблоками. Лежачим был дан гоголь-моголь – пара глотков молока, взбитого с яйцом и щепоткой муки каждому.

Деев этого не видел – уже спал в своем купе, уткнувшись носом в цветочную обивку, не сняв бушлата и не скинув башмаков. Рука и нога свесились к полу, в бедро уперся спрятанный в кармане револьвер, грудь кололи диванные пружины – и было ему хорошо. Сон его был сладким и легким – но порой прерывался нечаянной мыслью или звуком: то станет жаль, что среди подарков не оказалось меда для Пчелки, то охватит беспокойство, что скиснет быстро молоко...

В штабном было тихо: малышня сыта, и даже Кукушонок умолк, накормленный. А Фатима отчего-то продолжала петь, и Дееву было приятно, словно пела она для него. Голос доносился из коридора еле слышно, но приподняться и раскрыть купейную дверь сил не было – так и плыл по сонным волнам, ведомый ласковыми звуками, то погружаясь в дрему, то выныривая.

Мужские имена – зола, кроме твоего.

Мужские лица – рябь на воде.

Мужские голоса – ветер в горах,

Кроме одного – твоего, Искандер.

Кто был ей тот Искандер? Сын? Муж? Возлюбленный? Колыбельная была материнская, но в тихом голосе поющей звучала такая страсть, что Деев поверил бы в любое объяснение.

Будто и колеса теперь стучали по-иному: *ис-кан-дер... ис-кан-дер...* И пар из клапанов шел с особым свистом: *ис-с-с-с-с!*.. И вопил истошно гудок: *исканде-э-э-э-эр!*

*Не надо мне дочерей – ни одной и ни дюжины.
И других сыновей – не хочу.
Нет места для них – ни в сердце, ни в голове.
Все наполнено тобой,
Как наполнено водой морское дно.*

Эшелон летел по черному лесу, рассекая туманные облака и изрыгая такие же. Утренняя влага ложилась на железные бока вагонов, каплями ползла по стеклам, умывая и сами окна, и светящиеся в них детские лица.

На крыше полевой кухни среди могучих яблоневых ветвей сидел Мемеля и собирал яблоки. Он уже заполнил плодами все порожние мешки и корзины – яблоки все не кончались. Это неожиданное изобилие заставляло его часто смеяться, жмурясь и лоя губами встречный ветер. А в перерывах веселья сострадание к погубленному дереву велело плакать, и гладить шершавую кору, и шептать извинения.

*Я бы выклевала звезды с неба и проглотила солнце —
Лишь бы не наступило утро расставания.
Но тебя заставить спать вечно – не могу.
А потому – спи и просытайся,
Просытайся мужчиной.*

В самом конце состава на вагонной площадке стоял фельдшер Буг и смотрел на утекающие вдаль рельсы и шпалы. И сосны утекали от него, и березы, и поросли малины по краям железной дороги, и тропы, и овраги, и куски серого неба в лужах – утекало всё. За его спиной в лазаретных глубинах ждали дети; и белый халат ждал – вновь вынутый из чемодана и аккуратно разложенный на топчане. И надо было идти туда, конечно, и надевать халат, и быть при детях – но так свежо и нежно было это утро и так зыбок мир, окутанный туманом, что Буг продолжал стоять.

*Я – птица, утонувшая в морских волнах.
Я – звезда, упавшая в колодезь.
Я – рыба, ползущая по песку.
Вот кто я без тебя, мой возлюбленный сын.*

В штабном – в самом его дальнем углу, на нарах, за ситцевой занавеской – лежала Фатима. Лежала не одна – у груди ее вольготно раскинулся спящий младенец. Из его приоткрытого и будто улыбающегося рта катилась по щеке светлая струйка – сытая отрыжка. Женщина свернулась вокруг ребенка – завернулась одеялом, обернулась коконом – и пела свою бесконечную колыбельную. В паузах между строф прижималась к младенческой макушке – целовала и ее, и детские виски, и лоб – горячо и часто.

“Спи, мой мальчик, – увещевала Фатима. – Спи и просыпайся мужчиной...”

Деев послушно спал.

* * *

Блеклое октябрьское солнце еще не достигло зенита, а Деев уже поднялся на ноги. Тело побаливало от бессонницы, и голова была несвежа, но знал – скоро организм разойдется и забудет про усталость. Спать было некогда: обещал Белой хлопотать вдвоем – исполняй.

В купе комиссара уже не было, и он хотел было искать ее по составу, но что-то в обита-лице Белой толкнуло войти и оглядеться внимательно. Впервые Деев рассматривал соседнее купе при свете дня и ничего особенного в нем не нашел: диван был широк, приоконный столик полирован, а занавески – бархатны. Лишь пару мгновений спустя понял, отчего застыл в недоумении: здесь не было цветов-лепестков. Помещение было отделано мореным дубом и тканями бордовых тонов – ни тебе бахромы на портьерах, ни росписи на потолке, ни канделябров с завитушками. Очевидно, Дееву досталось женское купе, а комиссару – мужское. Крякнул он, а ничего не попишешь – не заводить же спор из-за эдакой ерунды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.